
ВНЕШНИК
МАКСИМ ЯКИМЕНКО

Максим Якименко
Внешник

https://litres.ru/74742559
SelfPub; 2026

Аннотация

Что, если однажды мир обнаружит, что тебя в нём никогда не существовало?

Максим Сорокин оказывается в чужом мире, где у всего есть своё место, имя и запись в Описи. Здесь действуют неизвестные ему правила, за их соблюдением следит загадочная система, а любое отклонение может обернуться смертельной опасностью.

Но Максим — исключение. Он внешний объект, которого система не может определить, учесть и объяснить.

То, что сначала кажется преимуществом, постепенно превращается в проклятие. Впереди — опасные поручения, странные находки, чужие тайны и люди, знающие гораздо больше, чем готовы рассказать.

Кто создал Опись? Почему некоторые вещи помнят то, что забывают люди? И что происходит с теми, кого мир перестаёт замечать?

Быть внешником — значит существовать за пределами правил. Но есть ли у такого существования цена?

Содержание

Глава 1. Рельсы 5
Глава 2. Первая кровь 21
Глава 3. Горелое 36
Глава 4. Мать 48
Глава 5. Налёт 61
Глава 6. Обоз 76
Глава 7. Край 87
Глава 8. Патруль 100
Конец ознакомительного фрагмента. 111

Внешник

Название: Внешник

Глава 1. Рельсы

В конторе пахло принтером.

Это особый запах — горячий тонер и пыль, — и он въедался в одежду так, что дома от куртки пахло работой. Я замечал это каждый вечер, когда вешал её на стул, и каждый вечер думал, что надо бы проветрить.

Не проветривал.

Меня зовут Максим Сорокин, мне двадцать семь лет, и я работаю логистом.

Звучит почти прилично, пока не спросят, что это значит. А значит это вот что: я сижу за столом, у меня два монитора, на одном — программа, где живут накладные, на другом — почта. Я смотрю, чтобы машина с грузом приехала туда, куда ей надо, а не туда, куда её отправили. Если она приедет не туда, звонит клиент, потом звонит Олег Петрович, потом я звоню водителю и объясняю ему, что он не прав. Водитель объясняет мне, что я не прав. Потом мы оба оказываемся правы, а груз всё равно стоит в Ростове.

За это платят тридцать восемь тысяч. Я считал, сколько это в час. Получается меньше, чем стоит кофе в автомате на первом этаже, если брать большой.

Кофе я, впрочем, не брал. Я брал маленький.

В тот день был вторник.

Вторник — худший день, это известно всем, кто работает

в конторе. Понедельник ещё терпим, потому что после выходных есть силы. Среда уже середина, а среда всегда лучше, чем вторник. Во вторник ты понимаешь, что до пятницы ещё три дня, а сделано ничего.

Я пришёл в восемь сорок. Открыл программу. Закрыл программу. Открыл её снова.

В одиннадцать пришёл Олег Петрович.

Он всегда приходит в одиннадцать — не потому, что так надо, а потому, что в одиннадцать он заканчивает пить чай и ему становится скучно. Он встаёт у моего стола, закладывает руки за спину и смотрит на мой монитор, как будто там что-то важное.

— Сорокин.

— Да, Олег Петрович.

— По «Кубань-Опту» что?

— Отгрузили. Накладная в почте.

— А по «Югснабу»?

— Ждём машину. Обещали к двум.

— Обещали, — говорит он с удовольствием. — Все обещают.

И уходит.

Мы разговариваем так каждый день. Иногда он добавляет: «Ты бы улыбался, Сорокин, тебя клиенты боятся». Это его шутка. Он шутит её четыре года.

В обед я выхожу на улицу.

Обед — сорок пять минут. Из них пятнадцать я трачу на

то, чтобы дойти до ларька и обратно, десять — на то, чтобы съесть то, что купил, а оставшиеся двадцать — на телефон.

Телефон — это важно.

В телефоне у меня была манхва. Я читал её в обед, в туалете, в очереди, в маршрутке. Не потому, что мне так нравилось, — потому что это был единственный способ не думать.

В манхве был герой. Обычный парень, как я: слабый, никому не нужный, ходит на работу, которую ненавидит. А потом случается всякое — и он становится сильным.

Я завидовал ему. Честно, без всяких там «это же выдумка». Завидовал, и всё.

Денис сидел напротив.

Он был единственный, с кем я разговаривал не про накладные. Ему было тридцать четыре, он был женат, у него рос сын, и он всё время собирался уволиться и уехать в Сочи.

— Читаешь? — спросил он.

— Читаю.

— Ну и как?

— Нормально.

— А я бросил, — сказал Денис. — Там уже непонятно, кто с кем воюет.

— Там всегда непонятно.

Он засмеялся.

— Слушай, Макс, а ты вообще чем бы хотел заниматься?

Я задумался. Не потому, что не знал ответа, а потому, что не хотел его говорить вслух.

— Не знаю, — сказал я. — Хотел бы, чтобы было интересно.

— Это не профессия.

— Знаю.

Денис почесал затылок.

— В Сочи у меня брат, — сказал он. — У него шашлычная. Говорит, за сезон поднимает больше, чем мы тут за год.

Он говорил это каждый месяц. Брат у него был не в Сочи, а в Краснодаре, и шашлычной у него не было, а был ларек с шаурмой. Но я не спорил. Каждому нужно куда-то хотеть.

В шесть я выключил компьютер.

Олег Петрович вышел из кабинета и сказал: «До завтра, Сорокин». Я сказал: «До завтра, Олег Петрович». Это был весь наш разговор за день, если не считать «Кубань-Опта».

Я вышел на улицу.

Улица была мокрая — днём моросило, — и пахло мокрым асфальтом. Ветер шёл с полей, и от него несло чем-то горелым: осенью тут жгут листву, и весь город пахнет костром.

Я шёл домой пешком. Это было двадцать минут — через рынок, мимо школы, по тропинке за девятнадцатой, наискосок через пути и через промзону.

Я всегда ходил этой дорогой. Не потому, что она была короткой, — через пути было короче, но не настолько, чтобы об этом думать. Просто я ходил по ней четыре года, и она стала моей.

В наушниках играло что-то бессмысленное — я включал

первое, что попадётся, чтобы не слышать улицу.

А в телефоне была манхва. Я листал её на ходу, держа телефон в правой руке, и этого было достаточно, чтобы не смотреть по сторонам.

Тот момент, когда герой наконец получает силу. Когда он перестаёт быть тем, кем был.

Я шёл и читал, и впереди были пути.

В Тимашевске в конце октября темнеет мгновенно. Не как в кино — с закатом, розовым небом и прочей красотой, — а буднично: в половине шестого ты ещё видишь свой ботинок, а в шесть уже идёшь по памяти.

Я шёл с работы. В наушниках играло что-то бессмысленное, в руке телефон, на экране манхва. Тот самый момент, когда герой наконец получает силу и начинает выносить всех, кто его унижал. Я листал и не смотрел под ноги. Тропинку за девятнадцатой школой знал наизусть: лужа у второго столба, собака у гаражей, мужик в пуховике, который идёт навстречу и никогда не здоровается.

Потом начинались пути. Две колеи, гравий, шпалы, запах мазута и мокрой ржавчины. За путями — промзона: склады, заборы, фонари через один. Дальше мой дом, чай, диван.

Я перешёл первую колею, потом вторую. Наушники забили уши так, что я слышал только музыку и своё дыхание.

Поезд я услышал, когда это уже ничего не меняло.

Не так, как в кино. Никакого «в последний момент он поднял глаза и отпрыгнул». Я поднял глаза — и увидел свет. Не

фонарь, не фары — стену света, которая шла на меня и с каждой секундой становилась больше. И звук. Не гудок даже — низкий, грудной звук, который я почувствовал подошвами раньше, чем ушами. Рельсы под ногами завибрировали. Гравий заплясал. Воздух толкнул в грудь, будто кто-то большой ударил ладонью.

Я успел подумать одну короткую и очень глупую мысль.

«Телефон».

Потом был вес. Не боль — боль я успел бы запомнить. Именно вес: сверху, со всех сторон сразу, так что нечем дышать и некуда деться. Что-то хрустнуло — не громко, а как хрустит сухарь под мокрой тряпкой. Меня потащило, провернуло, и я успел удивиться, что ещё что-то чувствую.

А потом не стало ничего.

Ни туннеля. Ни света в конце. Ни голосов. Только тьма, густая, как земля, в которой уже лежишь, и тишина такая полная, что я слышал, как звенит в ушах.

И всё.

Первое, что вернулось, — холод.

Второе — грязь. Не пыль, не земля: жидкая, ледяная грязь, которая забилась в нос, в рот, за шиворот, в ботинки. Я лежал в ней лицом, и она пахла так, что хотелось не дышать.

Третье — вонь. Пахло не городом. Пахло железом, гнилью и дымом, и ещё чем-то сладковатым, как от мяса, которое неделю пролежало в тепле.

Я попробовал пошевелиться и понял, что слушаюсь сам себя не полностью. Правая рука отозвалась сразу, левая — с задержкой, будто между мной и ею был слой ваты. В голове стучало. Во рту был вкус меди и земли.

Я приподнялся на локтях и открыл глаза.

Стало хуже.

Небо было не наше. Я не знаю, как это объяснить человеку, который такое не видел: оно было то же самое небо — звёзды, облака, — но они стояли не там. Не в том порядке. Я смотрел на них, как смотришь на текст, где все буквы знакомые, а слова не складываются. И луна была не на месте, и было её слишком много — две, одна большая и бледная, вторая маленькая, красноватая, как раздавленная ягода.

Я лежал в канаве у дороги. Глинистый откос, вода на дне, мокрая трава. Метрах в двадцати — дорога, судя по колеям, наезженная. Дальше — чёрные силуэты, похожие на дома, и ни одного огня.

Голова гудела. Я сел, обтёр лицо рукавом и только тогда посмотрел на руки.

Они были не мои.

Не в смысле «чужие» — в смысле чужие. Широкие ладони, мозоли на подушечках, сбитые костяшки, два ногтя сорваны до мяса. На левом запястье — белый шрам, старый, длиной с мизинец. Под ногтями — грязь, черная, как смола.

У меня никогда не было ни мозолей, ни шрамов. Я двенадцать лет водил мышкой.

Я опустил взгляд ниже. Грубая рубаха из чего-то, похожего на лён, кожаный жилет — поношенный, с прожжённой дырой у пояса. Штаны, верёвка вместо ремня. Сапоги — не мои и не по размеру: большие, набитые сухой травой так, что нога в них болталась.

Я дышал часто и мелко. Сердце колотилось где-то в горле.

— Так, — сказал я вслух и не узнал голос.

Он был ниже моего. Моложе. Хриплый, будто человек долго молчал или много кричал.

Я попробовал вспомнить, как меня зовут, и имя пришло сразу, легко, как номер своего телефона.

Максим. Максим Сорокин, двадцать семь лет.

А потом в голове что-то щёлкнуло — и поверх этого, как второй слой краски на старой стене, всплыло другое.

Олесь.

Девятнадцать. Деревня Горелое. Мать. Долг мельнику — три мешка, отдать до зимы. Спина, которую били палкой. Вкус пареной репы. Запах овчины. И девчонка, которая не пришла на околицу.

Я зажмурился. Открыл. Ничего не изменилось: канава, грязь, две луны.

— Ладно, — сказал я. — Ладно.

В этот момент перед глазами появилась строка.

Не на экране телефона, которого не было. Не на сетчатке, как фантом после вспышки. Она висела в воздухе, на расстоянии вытянутой руки, полупрозрачная и очень спокойная —

как уведомление, которое знает, что ты всё равно его прочитаешь.

Блок кода

[Регистрация завершена]

Я моргнул. Строка не исчезла.

Блок кода

[Статус: внешний] [Целостность: 71%] [Ошибка 0x1F: источник не классифицирован]

— Что это, — сказал я. Не спросил. Просто сказал в пустоту, потому что голос в собственной голове звучал чуть менее безумно, чем тишина.

Строки висели ещё секунду и погасли, как гаснет лампочка, когда щёлкаешь выключателем: не постепенно, а сразу.

Я сидел в грязи и ждал, когда они вернутся. Они вернулись через минуту, но другие:

Блок кода

[Состояние: кровопотеря] [Состояние: переохлаждение]

— Спасибо, — сказал я. — Очень помогло.

Никакой паники не было. Я это помню точно: не было истерики, не было «этого не может быть». Была тупая, тяжёлая сосредоточенность, как у человека, который упал с лестницы и первым делом проверяет, целы ли ноги. Мёртв? Похоже. В раю? Не похоже. В аду — тем более: в аду хотя бы тепло.

Я находился в другом мире, в чужом теле, с чужой памятью, и единственное, что мне об этом сообщило, — сухая строчка про какую-то ошибку.

Мне хотелось смеяться. Я не стал: было слишком холодно.

Дальше я сделал то, что сделал бы любой на моём месте, — осмотрелся.

Слева от канавы, метрах в семи, лежал человек.

Я заметил его не сразу: он сливался с грязью, потому что был одет в такое же тряпьё. И потому что от него почти ничего не осталось.

Мужчина. Лицо — половина лица. Рука вывернута так, как не выворачивается у живых. Из-под рёбер на землю вывалилось что-то тёмное и блестящее, и я очень быстро понял, что это, потому что пахло именно оттуда — сладковато и тошнотно.

Я отполз назад, на четвереньках, и меня вырвало в канаву.

Секунд двадцать я сидел, упершись лбом в мокрую глину, и слушал, как колотится сердце.

Потом вытер рот и заставил себя посмотреть ещё раз.

Следы. Вокруг тела — следы: глубокая колея, будто что-то тяжёлое тащили; втоптанные пятна крови; и отпечатки лап. Не человеческих. Больших, с четырьмя пальцами, и между ними — перепонка, как у гуся.

Я посмотрел на свои руки. На сбитые костяшки.

— Понял, — сказал я тихо. — Тут не гуляют.

И в этот момент в голове опять что-то щёлкнуло.

Не мысль — картинка. Короткая, обрывочная, чужая. Олесь бежит по этой дороге. Ночь. За спиной — топот. Он оборачивается через плечо и не успевает: что-то бьёт его в

бок, и он падает в эту канаву, лицом в грязь, и последнее, что он видит, — собственные руки, которые шарят по глине, ища опору.

Картинка кончилась. Я сидел в той же позе, в которой умер этот парень.

Меня затрясло — мелко, противно, изнутри. Не от холода.

— Слышишь, — сказал я вслух, ни к кому не обращаясь. — Я не знаю, кто ты. Но я тебя не выбирал.

Тишина. Даже ворон не было.

— Ладно, — сказал я, потому что говорить было легче, чем молчать.

Я встал.

Точнее, попробовал. Первая попытка закончилась тем, что я снова сел в грязь и очень внимательно изучил небо. Вторая — вышла: я оперся на колено, потом на что-то торчащее из земли, потом выпрямился, и меня качнуло так, что я чуть не упал обратно.

Стоять было больно. Не там, где я ждал: не голова, не спина, а всё сразу. Ломило кости. Колени дрожали. Кожа на животе была липкой и горячей.

— Кровопотеря, — сказал я. — Ну да.

Я ощупал себя: рёбра целы, ключица цела, на боку — длинная рваная ссадина, но не глубокая. Штанина на левой ноге потемнела от крови, и когда я её задрал, то увидел то, что не хотел видеть: царапины. Четыре параллельные, как от грабель. Не глубокие, но грязные, с набившейся землёй.

Пахло от меня, как от помойки. Холод пробирал до костей.

Я стоял в канаве у чужой дороги в чужом мире и понимал, что если сейчас не найду тепло и воду, то всё это — две луны, Система, ошибка 0x1F, — закончится в течение пары часов, и очень буднично.

Дорога шла на север и на юг. На севере силуэты домов, и одно пятно чуть светлее — то ли окно, то ли дым. На юге темно и ровно.

Я выбрал север.

Шёл я плохо. Первые сто метров — как пьяный: ноги ставил широко, чтобы не упасть, и всё время смотрел под них, потому что земля казалась неровной, будто её кто-то наклонил.

Сапоги хлюпали. Трава была мокрая и резала штанину. Ветер дул в лицо и нёс запах дыма — настоящего, печного, — и я шёл на этот запах, как животное.

Метров через двести я остановился и обернулся.

За спиной, там, где я оставил тело, было тихо. Но тишина была неправильная. Не пустая, а выжидающая. Так бывает в лесу, когда все птицы замолкают одновременно.

Я стоял и слушал.

И услышал.

Не шаги. Шаги я бы узнал. Это было шуршание — сухое, широкое, как если волочить мешок с песком по гравию. Оно шло с юга, оттуда, откуда я пришёл, и приближалось медлен-

но, но уверенно, будто знало, куда я пойду.

Я попятился. Камень под сапогом щёлкнул.

Шуршание остановилось.

Секунду ничего не было. Потом в темноте, метрах в тридцати, что-то поднялось — не встало, а именно поднялось, как поднимается на дыбы лошадь, только это было не похоже на лошадь. Большое. Узкое. И у него было две головы. Или одна, которая поворачивалась слишком быстро.

Я побежал.

Бежал я, наверное, секунд десять, прежде чем понял, что бегу не туда. Ноги несли меня обратно, к канаве, к телу, к тупику, потому что там была хоть какая-то знакомая земля.

Оно догнало меня у самой канавы.

Я не видел, как оно бьёт. Я почувствовал: удар пришёлся по спине, плашмя, и меня швырнуло вперёд, в грязь, лицом. В рот набилась земля. В ушах зашумело.

Сверху навалилась тяжесть и запах — тот самый, сладковатый, с железом.

Я закричал и перевернулся на спину, вслепую выставив руки.

И вот тут случилось то, чего я до сих пор не могу объяснить спокойно.

Оно задело меня лапой — распороло предплечье, от локтя до кисти, — и кровь, моя кровь, брызнула ему на морду. Тёмная, густая, она потекла по его коже, и там, где она текла, кожа под ней пошла волной.

А моя рука начала меняться.

Сначала боль — такая, что я на секунду перестал видеть. Потом кость под кожей задвигалась, будто кто-то изнутри переставлял её по частям. Кожа натянулась, посинела, покрылась чем-то жёстким, похожим на корку. Пальцы удлинились. Ногти — я это видел, я это видел вблизи, в двух ладонях от лица, — стали толстыми и тёмными, как у зверя.

Я не думал. Не выбирал. Просто в голове прозвучало сухое, как отчёт:

Блок кода

[Оттиск: каменный] [Износ: 12%]

И моя рука, чужая, тяжёлая, сама сжалась в кулак и ударила.

Попала в морду. Я почувствовал, как хрустит — не его кость, а моя, где-то в кисти, — и одновременно как оно отлетает назад, как мешок, сбитый с телеги.

Оно взвизгнуло. Не зарычало — взвизгнуло, тонко и обиженно, как собака, которой наступили на лапу. Попятилось. И в темноте я увидел, как оно уходит, припадая на одну сторону.

Я лежал в грязи. Рука горела так, будто её держали в костре. Кожа на ней медленно, с мерзким ощущением, как отдирают пластырь, возвращалась обратно: корка трескалась и опадала, пальцы укорачивались. Боль ушла не сразу — она осталась где-то внутри, в кости, глухая и постоянная.

Блок кода

[Оттиск: завершён] [Износ: 12%] [Состояние: перелом (кисть)]

— Ага, — сказал я в грязь. — Спасибо.

Откуда-то сверху, с дороги, раздался голос.

— Эй! Кто там? Живой?

Я поднял голову.

Надо мной стоял человек с факелом. Свет бил в глаза, и я видел только силуэт: широкий, в плаще, с чем-то длинным в руке — то ли копьё, то ли рогатина.

— Живой, — сказал я. Голос не слушался, сорвался на хрип. — Пока.

Человек помолчал. Потом сплюнул в сторону и сказал, с той интонацией, с какой говорят о погоде или о ценах на соль:

— В Горелом, что ли, кто?

Я не ответил.

И он, видимо, понял моё молчание по-своему, потому что вздохнул и добавил:

— Ладно. Вставай, горелый. Тут стоять — сам понимаешь.

Я поднялся. Точнее, встал на колени, потом на ноги, и мир качнулся, но устоял.

Факел приблизился. Я увидел лицо: обветренное, в глубоких морщинах, с седой щетиной и глазами, которые смотрели на меня без всякого удивления — как на ещё одну неприятность в длинном списке неприятностей.

— Как звать-то? — спросил он.

Олесь. Олесь, девятнадцать, деревня Горелое, долг мельнику.

— Олесь, — сказал я.

Он кивнул, будто именно это и ожидал услышать, и повернулся, не дожидаясь меня.

— Идём, Олесь. До Края версту с гаком, а ночью тут гуляет всякое.

Глава 2. Первая кровь

Звали его Ероха.

Он сказал это сам, без вопроса, когда мы отошли шагов на двадцать:

— Ероха. Возчик. Соль везу.

— Олесь, — сказал я второй раз, потому что первое, видимо, не прозвучало.

— Слышал.

Больше он не разговаривал. Шёл впереди, держал факел высоко, и я видел его спину: широкую, сутулую, в плаще, который когда-то был зелёным, а теперь стал цветом грязи. За поясом у него торчал топор — маленький, с коротким топорищем, каким не рубят дрова, а бьют.

Мы шли по обочине. Справа тянулась дорога, разъезженная, в лужах, которые блестели даже без луны. Слева — поле, чёрное, и над ним туман стоял по колено, как молоко в блюдце.

Ноги у меня не слушались. Левая была как чужая, кисть горела ровно и зло, а каждый шаг отдавал в неё — тук, тук, тук, — будто внутри кто-то бил в колокол с очень плохим слухом.

— У тебя рука, — сказал Ероха, не оборачиваясь.

— У меня.

— В кулак не сожмёшь?

Я попробовал. Три пальца согнулись, мизинец и безымянный не шевельнулись вовсе.

— Частично.

Он хмыкнул. В этом хмыканье было примерно столько же сочувствия, сколько в объявлении о повышении цен.

— Дойдём — покажу, где костоправ. Он за козу берёт, за человека — по-божески.

— А если нет козы?

— Тогда за деньги, — сказал он. — Это тоже принимают.

Дорога свернула, и мы вошли в тень. Тени здесь были странные: не от луны, а от чего-то ещё, будто свет падал сбоку и снизу. Я поднял голову и опять увидел две луны. Малая висела прямо над дорогой и была похожа на ноготь, отросший не туда.

— Ероха.

— Ну.

— Что это за место?

Он остановился. Повернулся ко мне, посмотрел — не в глаза, а куда-то в район груди, будто там было написано объяснение.

— Ты что, — сказал он, — головой приложился?

— Приложился, — согласился я.

Он молчал секунд пять. Потом сплюнул.

— Кромка это. Куда ты собрался-то, если не знаешь?

— В Край.

— Ну вот, — сказал он. — Кромка. От Горелого до Края

— Кромка, и с обеих сторон — всё, что за стеной.

— А что за стеной?

— А вот это, — он поднял факел, и свет выхватил из темноты часть поля, — и есть за стеной.

Я посмотрел. Там ничего не было. Просто поле, туман и темнота.

— Спасибо, — сказал я. — Стало понятнее.

Он снова хмыкнул и пошёл дальше.

Мы шли ещё с полчаса, и дорога вывела нас к кресту.

Он стоял у обочины, покосившийся, из двух досок, и на нём не было никакого распятия — только вырезанный круг с насечками, как на иконе в доме матери.

Ероха остановился.

— Привал.

Он снял с плеча мешок, сел на камень и достал хлеб.

Я сел рядом.

— Это что? — спросил я, кивнув на крест.

— Памятник.

— Кому?

— Двоим. — Он жевал. — Ездили в Соль, не вернулись. Восемь лет назад.

— Что с ними стало?

— А кто ж знает. — Ероха посмотрел на дорогу. — Может, падальщики. Может, степные. Может, само.

— Само?

— Само, — сказал он. — Бывает, что человек идёт-идёт,

а потом его нет. И вещи на месте, и лошадь стоит, а его нет.

Он отломил кусок и протянул мне.

— Ешь. Дальше хуже дорога.

Хлеб был чёрствый, но вкусный. Я жевал и смотрел на крест.

— Ероха.

— Ну.

— А ты давно возишь?

— Двадцать лет. — Он посмотрел на меня. — С шестнадцати.

— И ничего?

— А что «ничего»?

— Ну, не убили же.

— Не убили, — согласился он. — Пока.

Он помолчал.

— У меня брат был. Старший. Он тоже возил, только не соль, а железо. — Ероха сплюнул. — Поехал в Гнилой Брод и не вернулся.

— Нашли?

— Нашли лошадь.

— Страшно? — спросил я.

Он посмотрел на меня, как на дурака, но без злости.

— А ты как думаешь?

— Думаю, страшно.

— Страшно, — сказал Ероха. — Только если думать об этом каждый раз — с ума сойдёшь. Я не думаю.

Он встал, отряхнул штаны.

— Я думаю о другом. О том, сколько дадут за мешок в Крае, и сколько стоит соль в Горелом, и где я переночую. Если думать про это — жить можно.

Пошли дальше.

Я смотрел на дорогу и думал о том, что этот человек двадцать лет ездит по одной и той же дороге, между двумя деревнями, и знает, что в любой момент может не доехать. И всё равно ездит.

— Ероха.

— Ну.

— А зачем?

— Что зачем?

— Возить. Если каждый раз можешь не доехать.

Он долго молчал.

— А зачем ты шёл? — спросил он наконец.

— Куда?

— Не знаю. Куда ты шёл, когда тебя этот… — он мотнул головой назад, — догнал?

Я не ответил.

— Вот и я не знаю, — сказал Ероха. — Просто иду.

Телега стояла в ложбине, наполовину съехав в кювет.

Лошадь — гнедая, костлявая, с обрубком хвоста — стояла там, где её бросили, и смотрела на нас с таким видом, будто всё это время ждала, когда же наконец придут идиоты, которые её вытащат.

— Вот, — сказал Ероха. — Колесо ушло. Один не вытяну.

Я посмотрел на телегу. Мешки, накрытые рогожей, верёвки, два с половиной мешка соли, судя по тому, как оно просело. Даже если бы у меня были обе руки целы, я бы это не вытащил.

— У меня рука, — напомнил я.

— У тебя голова, — сказал он. — Толкай плечом, а я под колесо подкладу.

Мы возились минут двадцать. Я упёрся в борт, Ероха подсунул под колесо камень, потом ещё один, лошадь дёрнула, телега выскочила так резко, что я упал на колени в грязь.

— Во-от, — сказал Ероха удовлетворённо, как будто мы вместе сделали что-то важное.

И в этот момент лошадь заволновалась.

Сначала я не понял. Она просто переступила с ноги на ногу, потом ещё раз, потом всхрапнула и попятилась, натянув вожжи, которые Ероха держал в руке.

— Тихо, — сказал он, и голос у него стал другой. — Тихо, дура.

Он не смотрел на лошадь. Он смотрел в темноту за телегой.

Я тоже посмотрел, и у меня в затылке что-то сжалось.

Там ничего не было. И это было самое плохое.

— Ероха, — сказал я.

— Молчи.

Он медленно, очень медленно опустил факел к земле и

воткнул его в грязь между нами, так чтобы свет не бил в глаза.

— За телегу, — сказал он тихо. — Спиной к колесу. Быстро.

Я сделал. Спиной к колесу, лицом к темноте. Сердце билось в горле и отдавалось в сломанную кисть.

— Их сколько? — спросил я шёпотом.

— Двое, — сказал Ероха. — И третий где-то. Они всегда по трое.

— Что это?

Он помолчал.

— Падальщики.

Они вышли из тумана почти одновременно — двое слева, один справа, — и шли не бегом. Шагом. Так, как ходят люди, которые точно знают, что добыча никуда не денется.

Я увидел их и не сразу понял, почему мне так страшно.

Они были похожи на собак. Если бы собака решила встать на задние лапы, вытянуться, сбросить шерсть и отрастить вместо морды что-то вроде птичьего клюва из кости. Кожа у них была серо-розовая, в складках, как у новорождённых. Лапы — с перепонкой, я такие следы уже видел. И глаза. Глаза были человеческие. Маленькие, близко посаженные, и в них было не голодное звериное, а что-то деловитое, как у мужика, который пришёл на базар и прикидывает, сколько дадут за эту козу.

— Не беги, — сказал Ероха. — Побежишь — догонят.

Он вытащил топор.

— И не смотри им в глаза. Они так… — он не договорил, — завораживают, что ли.

Правый прыгнул первым.

Ероха ударил наотмашь, сверху вниз, и я услышал, как лезвие входит в тело — не хруст, а глухой, сочный звук, будто топором рубят капусту. Падальщик взвизгнул и отлетел, но второй уже был рядом, и третий шёл справа, и Ероха не успевал.

Я не думал. Честное слово, не думал.

Я схватил с телеги первое, что попалось под руку, — это оказалась деревянная лопата для соли, — и ударил. Плашмя, неуклюже, левой рукой.

Попал по морде. Падальщик мотнул головой, посмотрел на меня — и вот тут я понял, что имел в виду Ероха.

Смотреть ему в глаза было как стоять по колено в холодной воде и чувствовать, как она поднимается. Не страх даже — оцепенение. Я стоял и смотрел, как он поднимает лапу, и понимал, что надо отойти, и не мог.

Меня спас Ероха. Он бросил топор — не метнул, а просто швырнул, как швыряют камень, — и топор попал падальщику в бок, и наваждение кончилось.

Я отпрыгнул. Поздно.

Лапа прошла по мне сверху вниз, от плеча до локтя, и рубаха разошлась, и я почувствовал, как воздух вошёл в рану — холодный, мокрый, — и только потом пришла боль.

Ероха закричал.

Я обернулся и увидел, как третий — тот, что шёл справа, — стоит над ним. Ероха сидел на земле, привалившись к телеге, и держался за живот обеими руками, и между пальцами у него было что-то тёмное и блестящее, и оно вываливалось.

— Беги, — сказал он. Спокойно так сказал, будто советовал, где лучше перейти дорогу.

Я не побежал.

Я не могу объяснить почему. Может, потому что бежать было некуда. Может, потому что в этот момент во мне что-то переключилось — не храбрость, а тупая злость человека, которому уже нечего терять, потому что он и так умер два раза за один вечер.

Я подобрал топор.

Он был тяжёлый. Тяжелее, чем кажется, когда смотришь со стороны: короткое топорище, обмотанное кожей, и всё смещено вперёд, к железу. Я взял его левой рукой, потому что правая не держала.

Падальщик обернулся.

И вот тогда кровь Ерохи, которая была на моих руках, сделала то же, что кровь того, первого, в канаве.

Только теперь я не лежал на спине и не смотрел в небо. Теперь я стоял.

Кожа на левой руке пошла волной. Я почувствовал, как ногти наливаются тяжестью, как меняется прикус — зубы раздвинулись, и во рту стало тесно, — и как в носу, глубоко,

там, где переносица, что-то щёлкнуло и открылось.

Запах.

Я вдруг понял, что могу различить всё: соль в мешках, конский пот, кровь Ерохи, гниющую сладость падальщиков, мокрую шерсть, дым от факела. Мир стал в десять раз громче и в десять раз противнее.

Блок кода

[Оттиск: падальщик] [Ошибка: образец не классифицирован] [Износ: 21%]

Я зарычал. Не специально — само вышло, из горла, низко и хрипло.

Падальщик отшатнулся.

Он боялся. Я это видел — по тому, как он прижал уши, как подобрался, как его передняя лапа дёрнулась назад, прежде чем он её поставил. Он боялся, и от этого я почувствовал себя лучше, чем за весь этот вечер.

Я шагнул вперёд и ударил.

Он был быстрее. Он ушёл в сторону, и топор разрубил воздух, и я провалился вперёд, потеряв равновесие, и в этот момент он вцепился мне в предплечье.

Зубы вошли в мясо, и я почувствовал их на кости.

Не «почувствовал боль» — я почувствовал именно зубы. Как они скребут. Как они ищут место, чтобы сжаться.

Я заорал и сунул ему в морду левую руку — сломанную, которая не держала, — и он переключился на неё, и вот тогда, когда он открыл пасть, чтобы перехватить, я ударил его

топором снизу.

Под челюсть.

Лезвие вошло на ладонь, не глубже, и застряло. Я навалился всем весом, обеими руками, и почувствовал, как что-то поддаётся — не кость, а хрящ, что-то мягкое и упругое, — и топор провалился глубже.

Падальщик дёрнулся. Один раз, второй. Его лапы скребли по мне, я чувствовал, как когти рвут штанину, и что-то горячее текло мне на ноги.

Потом он обмяк.

Я держал топор ещё секунды три, потому что не был уверен. Потом разжал руки, и он упал.

Меня вырвало.

Я стоял на четвереньках и меня рвало, и я смотрел на свои руки, и на руках была кровь — своя и чужая, — и она уже подсыхала, стягивала кожу.

Потом я вспомнил про Ероху.

Он был ещё живой. Я это понял по тому, как он смотрел: глаза были открыты, и он смотрел на меня, и в глазах было удивление — не страх, а именно удивление, как у человека, который увидел что-то, чего не ожидал увидеть.

— Ты, — сказал он. Голос был тихий, и слова выходили с трудом. — Ты чего… руку-то…

Я посмотрел на свою левую руку. Она ещё не вернулась полностью: пальцы были длинные, ногти чёрные, кожа в мелких трещинах, как старая кожа на сапогах.

— Это не рука, — сказал я. — Это… долго объяснять.

Он попытался усмехнуться. Не получилось.

— Ясно, — сказал он. — Внешник.

Я замер.

— Что?

— Не придуривайся, — сказал он, и это было почти спокойно. — Я двадцать лет по Кромке езжу. Я видел. — Он закашлялся, и изо рта у него пошла кровь, тёмная, густая. — Только ты это… не показывай никому. За такое — на кол.

— Ероха…

— Слушай. — Он вдруг схватил меня за рукав, и хватка была сильная, не по его виду. — Телега. Соль. Отвези. Мельнику в Горелом, скажешь — Ероха, мол, того… — он мотнул головой в сторону, где лежал первый падальщик, — задержался.

— Ты не умрёшь, — сказал я. И сам понял, как это глупо прозвучало.

— Умру, — сказал он просто. — Ты тоже, если будешь тут сидеть.

Он отпустил рукав.

— Иди. И не оглядывайся. У них третий где-то. Он не ушёл.

Я не помню, как я взобрался на телегу.

Помню, что лошадь не сразу пошла — она пятилась и храпела, и я говорил ей что-то бессмысленное, гладил по шее мокрой от крови рукой, и от этого она волновалась ещё боль-

ше.

Помню, как щёлкнул вожжами, и телега тронулась, и колесо завизжало, и этот визг был самым громким звуком в мире.

И помню, как через сто метров обернулся.

Ероха сидел у телеги, привалившись к колесу, и смотрел мне вслед. Рядом с ним лежал падальщик, которого я убил.

Третьего не было видно.

До рассвета я ехал и не останавливался.

Дорога шла между полями, потом вошла в лес — и в лесу стало совсем темно, и я ехал на слух, на храп лошади, на скрип телеги, на визг колеса. Ветки хлестали по лицу. Пахло хвоей и мокрой землёй, и этот запах был до того нормальным, что у меня защипало в глазах.

Где-то на середине пути рука вернулась.

Не сразу — сначала онемение, потом боль, такая, что я натянул вожжи и сидел, согнувшись, пока не отпустило. Пальцы снова стали короткими. Ноготь на указательном — чёрный, и не болит, и я знаю, что он не отрастёт.

Блок кода

[Оттиск: завершён] [Износ: 21%] [Предупреждение: накопленные изменения]

Я смотрел на эту строчку минуты две, пока лошадь не дёрнула вожжи.

«Накопленные изменения».

Значит, оно никуда не делось. Значит, каждое использова-

ние оставляет след. И значит, что-то во мне уже не от Олеся и не от Максима — что-то третье, и его становится больше.

Блок кода

[Цель устранена] [Опыт: 40] [Уровень: 2]

Блок кода

[Навык закреплён: нож] [Состояние: рана (предплечье) — кровотечение] [Состояние: перелом (кисть) — не срастается]

Я хотел сказать что-нибудь злое, но во рту пересохло, и я просто сидел и смотрел, как светлеет лес.

На рассвете я увидел Горелое.

Оно было именно такое, как в памяти Олеся, — и я это понял не по виду, а по телу: плечи сжались сами, руки вцепились в вожжи, сердце забилось чаще. Тело помнило это место. Тело его боялось.

Деревня стояла на склоне: двадцать дворов, серые крыши, дым. За околицей — мельница, крылья не крутятся, одно сломано. Перед крайним домом — колодец с воротом и длинный столб, на котором что-то висело.

Я пригляделся и понял, что это.

Это был человек.

Он висел головой вниз, руки связаны за спиной, и вокруг него уже собирались. Не толпа — трое: мужик в тулупе, баба с ведром и пацан лет восьми, который стоял чуть в стороне и бросал в висящего камнем.

Я остановил телегу и смотрел.

«Не показывай никому», — сказал Ероха.

А я сидел на его телеге, с его солью, с его кровью на руках, в чужом теле, и смотрел на человека, который висел вниз головой за то, что, может быть, тоже был не таким, как все.

Пацан бросил камень и попал.

Я тронул лошадь и въехал в деревню.

Глава 3. Горелое

В деревню я въехал шагом, потому что лошадь сама перешла на шаг, а я не стал её заставлять.

Двадцать дворов смотрели на меня молча.

Я это чувствовал кожей — как будто вошёл в комнату, где только что ругались и замолчали. У колодца стояла баба с коромыслом и не двигалась. У забора — старик с топором, который держал его не для работы, а просто держал. Собака вышла из-под ворот, посмотрела на телегу, на меня — и ушла обратно, не загавкав. Даже собака здесь понимала, что лучше не.

И на столбе у околицы висел человек.

Я подъехал ближе, потому что не мог не подъехать.

Он висел головой вниз, руки за спиной, связаны сыромятным ремнём. Верёвка на щиколотках, другой конец — за крюк на столбе. Лицо у него было красное, почти чёрное, и глаза открыты. Изо рта тянулась тонкая нитка, уже подсохшая. Волосы — рыжие, и от этого казалось, что голова горит.

Рядом на земле валялся камень, тот самый, которым кидал пацан. И ещё один, побольше.

Вороны сидели на перекладине и ждали, никого не боясь.

— Эй! — крикнули сзади. — Ты кто такой?

Я обернулся.

Мужик в тулупе — тот самый, что стоял у колодца, —

шёл ко мне, и в руке у него был не топор, а палка. За ним семенила баба с ведром, и пацан, который бросил камень, держался за её юбку.

— Олесь, — сказал я. — Пелагеин.

Мужик остановился шагах в четырёх. Посмотрел на телегу, на мешки, на лошадь. Потом на меня.

— Ерохина телега, — сказал он. Не спросил.

— Ерохина.

— А сам он где?

Я помолчал ровно столько, сколько нужно, чтобы это выглядело естественно.

— В перелеске. Падальщики. Трое.

Баба охнула и закрыла рот рукой. Мужик не охнул. Он смотрел на меня ещё секунды три, и в этом взгляде было что-то вроде арифметики — он складывал: телега, соль, живой парень, мёртвый возчик.

— Трое, — повторил он. — А ты как?

— Убежал.

— Убежал, — сказал он. И в этом слове было всё, что он обо мне подумал.

— Соль мельнику, — сказал я. — Он так сказал. Ероха.

Мужик сплюнул.

— Конечно, мельнику. Кому ещё.

До мельницы я не доехал — меня остановили у колодца.

Не окликнули. Просто встали поперёк дороги — три бабы с коромыслами, — и лошадь сама остановилась, потому что

лошади всегда останавливаются, когда поперёк дороги стоят люди.

— Олесь, — сказала одна. Не спросила.

— Олесь.

Они смотрели на меня.

Не враждебно. Смотрели так, как смотрят на человека, который вернулся с войны: вроде свой, а вроде и не совсем.

— Ты где был-то? — спросила вторая, помоложе.

— В поле.

— Три дня?

— Три дня.

Третья, самая старая, с лицом как печёное яблоко, сплюнула в сторону.

— В поле, — сказала она. — В поле он был. А Тимоху-то за что?

Я не нашёл что ответить.

— Ты его видел? — спросила молодая.

— Кого?

— Тимоху.

Я посмотрел на столб.

— Видел.

Старая снова сплюнула и пошла, загребая юбкой пыль. Остальные остались.

— Не слушай её, — сказала молодая. — Она с ним в родстве была. Дальняя.

— Понятно.

— Ничего не понятно, — сказала она. — Ты бы шёл. А то и до тебя дойдут.

Я поехал дальше, и мальчишки побежали за телегой.

Трое. Босые, в отцовских рубахах, с лицами, перемазанными чем-то. Они бежали рядом, заглядывали в телегу и громко обсуждали, что там лежит.

— Соль!

— Дядь, а дядь! А ты видел?

— Что?

— Мертвяка!

Я не ответил.

— Мы видели! — крикнул самый маленький. — Он ночью висел, а утром уже не висел!

— Кто снял?

— Афанасий! Он сказал, что ночью нельзя, чтоб видели!

Они бежали ещё немного, потом отстали. Один — самый маленький — долго стоял и смотрел мне вслед, задрав голову.

Я знал эту деревню.

Не помнил — знал. Это было странное чувство, как будто я попал в место, которое видел во сне, и во сне оно было точно таким же: та же лужа у бани, тот же покосившийся сарай, та же вывеска у кузни, на которой ничего не написано.

Память Олеся работала не как память, а как запах.

Я проезжал мимо дома, и в голове само всплывало: здесь живёт Марфа, у неё коза бодливая. Здесь — Гаврила-старо-

ста, у него яблоня за забором, и в детстве мы с пацанами лазили за яблоками, и он нас гонял, и один раз поймал и не побил, а просто сказал: «Берите, но не ломайте ветки». Я тогда не понял, и до сих пор не понимаю.

Вот здесь — колодец, у которого всегда мокро.

Вот здесь — баня, где по субботам парятся по очереди: сначала мужики, потом бабы.

Вот здесь — поворот к дому.

Я знал этот поворот. Я знал, что за ним будет забор с треснувшей доской.

И когда я повернул и увидел забор с треснувшей доской, я почувствовал, как у меня сжало горло.

Это был не мой дом.

Но он был мой.

Мельник жил за околицей, у пруда. Дом у него был единственный в деревне крытый тёсом, и мельница рядом — большая, тёмная, с колесом, которое стояло как вкопанное.

Я вылез из телеги и понял, что ноги держат плохо. Всё, что было вчера, отложилось в теле, как долг: спина, кисть, предплечье, и особенно — левая рука, которая после Оттиска ныла не как рана, а как зуб, глубоко и тупо.

Мельник вышел на крыльцо сам. Старый, сухой, в кожаном фартуке, с руками, у которых пальцы были толще, чем у меня.

— Чего? — сказал он.

— Соль. От Ерохи.

Он сошёл с крыльца, подошёл к телеге, откинул рогожу, запустил руку в мешок, набрал горсть, посмотрел на свет, попробовал на язык.

— Хорошая, — сказал он. — Наша.

Потом посмотрел на меня.

— А Ероха?

— Убит.

Он кивнул. Просто кивнул, как будто я сказал, что будет дождь.

— Долг за ним был, — сказал он. — Два мешка.

— Три, — сказал я.

Мельник прищурился.

— Чего?

— Три мешка. Он говорил — три.

Я не знал, зачем я это сказал. Может, потому что в памяти Олеся сидело это число, как заноза, — три мешка, отдать до зимы. Может, потому что мне было слишком плохо, чтобы молчать.

Мельник смотрел на меня долго.

— Три, — сказал он наконец. — Ну, три.

Он забрал три мешка. Не на плечо — позвал работника, тот пришёл и унёс. Потом мельник достал из кармана фартука горсть меди, посчитал, отсыпал половину обратно, а остальное протянул мне.

— За остальное.

Я взял. Медь была холодная и липкая.

— Ты Пелагеин, — сказал он вдруг.

— Пелагеин.

— Она за тебя в прошлом году приходила. Просила отсрочки. — Он смотрел не на меня, а на свои руки. — Я дал. Зря, выходит, дал.

Я не нашёлся что сказать.

— Иди, — сказал он. — И телегу забери. Мне она без надобности, а тебе, гляжу, нужнее.

Дом я нашёл сам. Не искал — ноги принесли.

Это было странно: я никогда здесь не был, но повернул у колодца правильно, прошёл мимо бани, обошёл лужу, в которой плавал чей-то валенок, и остановился у калитки, прежде чем понял, что остановился.

Калитка была из трёх досок. Одна — с трещиной. На столбе — вырезанные ножом палочки, кто-то считал дни.

Я толкнул её, и она скрипнула так, что у меня внутри что-то отозвалось раньше, чем я успел подумать.

Двор был маленький: поленница, курятник, покосившийся сарай. У крыльца стоял таз с водой, в котором плавали очистки от репы. Пахло дымом и варёной репой, и этот запах был настолько обыкновенный, что у меня засосало под ложечкой.

Дверь открылась до того, как я подошёл.

Женщина стояла на пороге. Лет сорока пяти, в платке, в фартуке, руки в муке. Лицо у неё было такое, будто она собиралась что-то сказать — и не сказала.

— Мам, — сказал я.

Слово вышло само. Я не решал его говорить — оно уже было, в горле, готовое.

Она молчала.

Смотрела на меня сверху вниз, с крыльца, и я видел, как она дышит: коротко, часто, через нос.

— Печь топится, — сказала она наконец. — Иди руки помой.

И отвернулась, ушла в дом.

Я стоял во дворе и смотрел, как закрывается дверь.

В доме было две комнаты и сени. Земляной пол, застеленный половиками. Стол у окна, лавка, печь — большая, тёмная, с горшком на шестке. В углу — икона, но не такая, как я привык: вместо лика — тёмный круг, а вокруг него насечки, как на монете.

Я сел на лавку. Дом скрипел, ухал печной трубой, пах дымом и кислой капустой.

Пришла мать. Поставила на стол миску и ложку.

— Ешь.

В миске была каша. Не репа, слава богу. Что-то крупяное, серое, с салом. Я не ел сутки и не помнил, как это — хотеть есть так, чтобы тряслись руки.

Я съел всё. Она стояла у печи, спиной ко мне, и что-то там делала, хотя я видел, что делать ничего не надо.

— Меня Ероха подвёз, — сказал я.

— Слышала.

— Он умер.

— Слышала.

Она повернулась.

— Тебя не было три дня, — сказала она. — Я думала, тебя тоже.

— Меня тоже, — сказал я. И это было правдой. Меня не было. Олеся не было. Максима не было. Никого не было.

Она смотрела на меня, и я вдруг понял, что она смотрит не в лицо, а на руки.

— Мам.

— Ешь, — сказала она. — Потом поговорим.

Но разговора не получилось.

Сначала пришли люди.

Дверь открылась без стука — так входят только в свой дом или в чужой, когда очень нужно, — и на порог шагнул тот мужик в тулупе, а за ним ещё двое.

— Пелагея, — сказал мужик. — Здорово.

— Здорово, Кузьма, — сказала мать.

— Мы это… — Кузьма потоптался, — узнать. Про Тимоху. Ну, что сынок-то твой вернулся, а Тимоха — вон.

Он посмотрел на меня.

— Ты где был-то три дня, а?

— В поле, — сказал я. — Лежал.

— Лежал, — повторил он.

Он был не злой. Я это понял в какой-то момент: он был испуган. Все трое были испуганы, и не меня боялись, а того,

что я принёс с собой: падальщиков, мёртвого возчика и то, что кто-то вернулся, а кто-то нет.

— Кузьма, — сказала мать. — Он с дороги. Ребёнок.

— Какой он ребёнок, — сказал Кузьма. — Девятнадцать годов.

— Ребёнок, — повторила мать, и в голосе у неё было столько, что Кузьма сдался.

Они ушли. Дверь закрылась.

— Тимоха, — сказал я. — Кто это?

Мать подошла к окну и долго смотрела в него, хотя там уже было темно.

— Рыжий, — сказала она. — Который на столбе.

Она повернулась.

— Порченый он был. Вот и всё. Не ходи к нему, не смотри, не спрашивай.

— Порченый — это как?

Она не ответила. Прошла мимо меня, взяла горшок, поставила на стол, потом опять взяла и поставила обратно.

— У него глаз был, — сказала она вдруг. — Левый. Он им видел то, чего нет. Ходил и говорил сам с собой. Ты не помнишь, ты маленький был.

— А сейчас?

— А сейчас он мёртвый, — сказала она. — И слава богу.

Я это запомнил. Не потому, что понял, а потому, что в её голосе было облегчение, и это облегчение было страшнее любого страха.

Ночью я лежал на печи и не мог уснуть.

Печь была тёплая, но я не мог расслабиться — тело было как чужие доспехи: везде давит, везде трёт. Левая кисть ныла. Предплечье, рассечённое лапой падальщика, дёргало под повязкой, которую мать наложила молча, не спрашивая, откуда рана.

Я смотрел в потолок и думал.

Думал о Тимохе. О человеке, который видел то, чего нет. О том, что его убили не за воровство и не за долг — а за то, что он был «порченый». И о том, что я сижу в чужом доме, с чужой матерью, в чужом теле, и если кто-нибудь увидит, как моя рука покрывается коркой, — со мной сделают то же самое.

Блок кода

[Состояние: износ 21%] [Репутация: подозрение]

Я посмотрел на строчку и тихо засмеялся, потому что это было единственное честное, что сегодня случилось.

Репутация. Подозрение. Какой-то код, который набирается сам, без моего участия.

Хотелось спросить у Системы: а вниз оно идёт? А бывает «доверие»? Но я уже понял, что она не отвечает на вопросы. Она только сообщает новости.

Уснул я под утро.

Мне снился поезд. Не тот, который меня убил, а другой — электричка, жёлтая, с жарким тамбуром и запахом мокрых курток. Я стоял на платформе, смотрел, как она уходит, и

понимал, что мне на неё надо, но двери уже закрылись.

Проснулся от холода и от того, что кто-то стоял рядом.

Мать стояла у печи, в одной рубахе, босая, и смотрела на меня.

— Чего? — просипел я.

Она подошла ближе. Нагнулась.

И взяла меня за левую руку.

Я не успел ничего сделать. Просто не успел: она подняла мою руку к свету, к той полоске утреннего света, которая шла из окна, и повернула ладонью вверх.

Ноготь на указательном был чёрный. Как обугленный.

Она смотрела на него долго.

Потом подняла глаза.

— Руки покажи, — сказала она.

Я не понял.

— Ты уже смотришь, — сказал я.

— Обе, — сказала она. — Покажи обе.

Она стояла надо мной, и в её лице не было ни страха, ни злости. Было что-то другое — то, чего я не ждал.

Ожидание.

Будто она давно знала, что этот день придёт, и вот он пришёл.

Глава 4. Мать

Я показал обе.

Она взяла правую — целую, обычную, с мозолями от вожжей, — повертела, отпустила. Потом взяла левую.

Долго смотрела на чёрный ноготь. Потом нажала на него большим пальцем, сильно, так что я дёрнулся.

— Больно?

— Нет.

— Значит, не отрастёт, — сказала она.

И села напротив, на лавку, положив руки на колени. Утро было серое, в окне висело что-то мокрое, и в доме пахло остывшей печью.

— Ты кто? — спросила она.

Не «кто ты такой». Не «что с тобой». Просто — ты кто.

Я мог соврать. У меня было секунды две, чтобы придумать что-нибудь: головой ударился, память отшибло, три дня в поле лежал. Всё это было почти правдой, и всё это она бы приняла.

Я не соврал.

— Я не Олесь, — сказал я.

Она кивнула. Один раз, коротко, как будто я подтвердил то, что она уже знала.

— Знаю, — сказала она.

— Олесь на правом боку спит, — сказала она. — Всегда.

С детства. А ты всю ночь на левом пролежал и ворочался.

Я молчал.

— И руки моешь два раза. Воду на два раза греешь. Кто так делает?

— Я…

— И говоришь не так, — перебила она. — Он говорил коротко. «Дай». «Пойду». «Не буду». А ты — как книжку читаешь.

Она замолчала. Потом добавила, тише:

— И глаза не его.

Вот тут у меня внутри что-то оборвалось. Потому что про глаза я не думал. Я вообще не смотрел в зеркало — а зеркала в доме не было, была только вода в тазу и тёмное окно.

— Чьи? — спросил я.

— Мои, — сказала она. — И его. Только у него они были… — она поискала слово, — спокойные. Как у коровы. А у тебя — как у пойманного.

Я опустил голову.

— Я не хотел, — сказал я. — Правда. Я не выбирал. Я шёл домой, и там был поезд, и…

Она подняла руку, и я замолчал.

— Не надо, — сказала она. — Мне не надо знать, откуда ты. Мне надо знать, что ты будешь делать.

Она рассказала про Тимоху.

Говорила ровно, без жалости, как рассказывают про погоду или про цены на соль.

— Он не всегда такой был. В молодости — нормальный парень, на мельнице работал. А потом вернулся из Края и стал… — она пошевелила пальцами, — видеть.

— Систему?

— Он так называл. Говорил: «вижу, где спрятано». — Она усмехнулась одной стороной рта. — Дурак. Он думал, это дар.

Тимоха находил вещи. В чужих домах. В чужих сундуках. Говорил, «вижу, как светится». Сначала деревня радовалась: пропало у одного, нашлось у другого, никто не в обиде. Потом перестала радоваться.

— Потому что нашли не только у чужих, — сказала мать.

Она помолчала.

— А потом приехали из Края. Двое, в чёрном. Сказали: «покажи, что умеешь». Он показал. Они забрали его с собой. А через месяц привезли назад и повесили на столбе. Чтоб видели все.

— За что?

— А ты как думаешь? — сказала она. — Если человек видит, где спрятано, — кому он нужен? — Она посмотрела на меня. — Только тому, кто прячет.

В доме стало очень тихо. Где-то за стеной кашлянула курица.

— Они его пытали, — сказала мать. — Он мне потом… — она запнулась, — не потом. Перед тем. Он мне сказал: «Пелагея, если увидишь человека, у которого руки не его, —

не кричи. Слушай, что он скажет».

Я поднял глаза.

— Он знал, что я приду?

— Он знал, что кто-то придёт, — сказала она. — Он говорил, что за ним следом идут. И что они придут не за ним.

— И что мне делать? — спросил я.

Она встала, подошла к печи, достала из-за заслонки горшок, плеснула в кружку чего-то тёмного, поставила передо мной. Квас. Тёплый, кислый, с запахом хлеба.

— Пить будешь?

Я выпил половину. Горло сразу отпустило.

— Три вещи, — сказала она, садясь обратно. — Первое: не показывайся. Никому. Ни Кузьме, ни старосте, ни попу. Особенно попу.

— Почему попу?

— Потому что он в Край пишет, — сказала она. — Каждый месяц. Кто родился, кто умер, кто уехал, кто странный.

Второе она сказала, глядя мне в лицо:

— Не лечись у знахарки. У неё язык как помело. Придёшь с раной — к вечеру вся деревня знает, какая у тебя рана. И какая рука.

— А если совсем плохо будет?

— Тогда иди в Край, — сказала она. — Там лекари есть. Дорого, но молчат.

— А третье?

Она помолчала. Потом сказала:

— Третье я скажу потом. Сначала послушай.

Это было в конце лета, за месяц до того, как сгорело Горелое.

Тимоха тогда жил один — жена ушла к родителям в Соль, ещё за три года до того, не выдержала, — и дни проводил на мельнице, а вечера в кабаке, которого в Горелом не было, но был погреб у Кузьмы, где мужики собирались пить.

И вот в один из таких вечеров он сказал лишнее.

— Он не хотел, — говорила мать. — Он просто сказал: «Я вижу, где у вас спрятано». И стал говорить. У кого.

— И что?

— И ничего. Сначала смеялись. Потом перестали.

Деревня — маленькая. Двадцать дворов. Когда один человек знает, где у другого лежит завёрнутое в тряпку серебро, — это не страшно. Страшно, когда он говорит об этом вслух.

— А потом на него донесли, — сказала мать.

— Кто?

— А кто не донёс? — Она усмехнулась. — Я не знаю. Может, Кузьма. Может, Афанасий. Может, я.

Я посмотрел на неё.

— Ты?

— Я не доносила, — сказала она. — Я просто не остановила.

Приехали двое.

Мать видела их из окна — они шли от поворота, не торо-

пясь, и с ними шёл староста Гаврила. Не впереди, не сзади — сбоку, чуть отстав, как ходят люди, которые очень хотят, чтобы их не заметили.

— Я тогда подумала: вот оно, — сказала мать. — Я не знала, что, но вот оно.

Они вошли во двор. Не постучали.

Тимоха сидел на крыльце и что-то чинил — то ли косу, то ли топорище. Он поднял голову и сказал: «Здорово, мужики».

Они не ответили.

— Один из них взял его за руку, — сказала мать. — Просто взял за руку, и всё. И Тимоха встал. Как будто так и надо.

— Он не сопротивлялся?

— Нет.

— Почему?

Мать помолчала.

— А ты бы сопротивлялся? — спросила она. — Если бы к тебе пришли двое, а рядом стоял староста, и вся деревня смотрела из-за заборов?

Деревня смотрела.

Мать помнила это подробно, как помнят стыд.

Кто-то стоял у калитки. Кто-то — у колодца. Кто-то — за баней, чтобы видно было и чтобы не видно было его.

Никто не вышел.

— Я стояла у окна, — сказала мать. — И думала: выйду — и что? Скажу «не трогайте»? А они скажут: «А ты кто?»

Она посмотрела на свои руки.

— Я тогда подумала, что если не выйду, то всё будет как было. Как будто ничего не произошло.

— И?

— И ничего не произошло, — сказала она. — Только Тимохи не стало.

Его держали в подвале у старосты две недели.

Деревня знала. В подвале было слышно — не крики, а так, глухие звуки, когда человек падает. По вечерам оттуда шёл свет, и Гаврила выносил ведро.

— А ты?

— А я носила ему хлеб, — сказала мать.

Я посмотрел на неё.

— Гаврила брал?

— Брал. — Она усмехнулась. — Он говорил: «Пелагея, ты баба добрая, но ты не лезь».

— И ты не лезла?

— Я лезла, — сказала она. — Я один раз полезла и спросила: «Гаврила, за что?» А он посмотрел на меня и сказал: «За то, что ты, Пелагея, тоже видишь, но молчишь».

Через две недели приехали те же двое.

Они вошли в подвал, вывели Тимоху и повезли его в Край.

Дорога туда — два дня. Дорога обратно — тоже два. Значит, в Крае его держали месяц, не меньше.

— И что с ним там делали?

— А ты как думаешь? — сказала мать. — Он видел. Они

хотели знать, что он видит.

— И?

— И он им рассказал, наверное. — Она пожала плечами. — Он был не из тех, кто молчит.

Привезли его в конце сентября.

Деревня была на ярмарке, и когда телега въехала, все пошли за ней — так же, как те мальчишки бежали за твоей.

Тимоха сидел в телеге. Он был живой.

— Он был живой, — повторила мать. — Это самое страшное. Я думала, привезут тело. А его привезли живого.

Он не был избитый — или был, но зажило. Он был спокойный. Такой спокойный, что от этого становилось холодно.

— Он сказал?

— Он сказал три слова. — Мать смотрела в стол. — «Я всё рассказал».

Повесили его в тот же вечер.

На столбе у околицы — там, где раньше висел колокол, а колокол сняли ещё до Сбоя, — и на этом столбе он потом висел три дня.

— Кто вешал?

— Гаврила.

— Сам?

— Сам, — сказала мать. — Он умер у него на руках. Гаврила потом два дня пил.

Она помолчала.

— Знаешь, что я думаю? Я думаю, что Гаврила не злой. Я думаю, он просто испугался, а когда человек пугается, он делает не то, что хочет, а то, что надо.

— Зачем ты мне это рассказываешь? — спросил я.

Мать посмотрела на меня.

— Затем, что тебя ждёт то же самое, — сказала она. — Если узнают.

— Я не буду показывать.

— Все так говорят.

Она встала и подошла к печи.

— Я тебе вот что скажу, — проговорила она, не оборачиваясь. — Тимоха был дурак. Он хотел, чтобы его любили. Он всех любил, и Кузьму, и Афанасия, и Гаврилу. И верил, что они его тоже.

Она обернулась.

— Ты не такой. Ты не любишь.

— Это плохо?

— Это спасает, — сказала мать. — Только это не жизнь.

— Так вот. Третье — не верь старосте.

— Кузьме?

— Кузьма — дурак, — сказала она. — Дурак не опасен. Староста — Гаврила. Вот он — опасен. У него брат в Крае, при страже. Он за медяк родную мать продаст, а за серебро — дважды.

Я запомнил. Гаврила — староста. Брат при страже. Не верить.

— И ещё, — сказала мать, вставая. — Не зови меня матерью.

Я посмотрел на неё.

— На людях — зови, — сказала она. — А тут не зови. Я не тебе мать. Я ему.

Она кивнула на пустую лавку, на которой никто не сидел.

Я вышел во двор, потому что в доме стало нечем дышать.

Утро было мокрое и серое. Над прудом висел туман, куры копались в грязи, из трубы соседского дома шёл дым — ровный, спокойный, как будто ничего не случилось.

Я сел на поленницу и стал смотреть на свои руки.

Правая была нормальная. Левая — тоже, если не считать ногтя. И это было самое страшное: я не чувствовал подвоха. Рука как рука. Кожа, мозоли, две царапины. А под ней уже что-то другое, и оно ждёт.

Блок кода

[Состояние: износ 21%] [Предупреждение: накопленные изменения]

— Да знаю я, — сказал я вслух.

Во дворе за забором кто-то ходил. Я поднял голову — и увидел пацана, того самого, что кидал камни. Он стоял у калитки, смотрел на меня и жевал что-то.

— Чего? — сказал я.

— Ничего, — сказал он. — Мамка сказала, ты в поле лежал.

— Лежал.

— А там Тимоха висит. — Он сказал это так же спокойно, как «а там дождь». — Его ночью снимут. Дед Афанасий сказал, что ночью нельзя, чтобы не видели.

— Почему?

Пацан пожал плечами.

— Примета.

Он ещё постоял, посмотрел на меня, потом сказал:

— У тебя глаз дёргается.

Я потрогал лицо. Глаз действительно дёргался — мелко, часто, сам по себе.

— Не выспался, — сказал я.

— Ага, — сказал пацан и ушёл.

К вечеру пришла баба. Не в дом — встала у калитки, в платке, с лицом, из которого вся кровь ушла.

Мать вышла к ней. Они поговорили минуту, тихо. Потом мать вернулась, и лицо у неё было как у той бабы.

— Что? — спросил я.

— Степные, — сказала она. — По Кромке идут. Афанасий видел дым со стороны брода.

Она подошла к окну, посмотрела на улицу.

— Дня два у нас есть, — сказала она. — Может, три.

— Это кто?

Она обернулась. Посмотрела на меня, как на дурака — но не зло, а устало.

— Люди, — сказала она. — Такие же, как мы. Только у них нет деревни.

Ночью я не спал.

Я лежал на печи и слушал дом. Скрипели половицы. В печи потрескивало. Мышь ходила под полом — я слышал её коготки по дереву, слышал, как она останавливается, как нюхает.

А потом я услышал другое.

Не мышь.

Шаги. Не в доме — снаружи. Медленные, тяжёлые, с хрустом по мокрой траве. Два человека. Может, три.

Я приподнялся на локте.

Шаги остановились у калитки.

Потом очень тихо, кто-то попробовал калитку. Она скрипнула на треть и замерла.

Я смотрел в темноту и чувствовал, как моя левая рука начинает гореть — не болеть, а именно гореть, как будто под кожей зажгли спичку.

Блок кода

[Внимание: близость образца]

Голос снаружи, приглушённый, но я услышал каждое слово:

— Здесь?

Второй голос ответил:

— Здесь. Точно здесь.

И тогда в доме, за моей спиной, заскрипела половица. Мать встала.

Она подошла к двери, остановилась — я слышал, как она

дышит, — и сказала очень спокойно, громко, на весь двор:

— Кто там ходит? Я мужа позову.

Снаружи замолчали.

Потом первый голос сказал, с усмешкой:

— Мужа у тебя нет, Пелагея. Помер.

Мать помолчала секунду.

— А сын есть, — сказала она.

Глава 5. Налёт

Я слез с печи тихо, но всё равно услышал, как в темноте мать выдохнула — коротко, с досадой, будто я сделал что-то глупое.

— Назад, — сказала она шёпотом.

Я не пошёл назад.

В сенях было темно так, что я видел только смутное пятно двери. Пахло мокрой обувью, кислой капустой и — слабо, снизу, из-под порога — мокрой землёй. Кто-то стоял с той стороны и дышал.

— Пелагея, — сказал голос. Спокойно, почти дружелюбно. — Открывай. Не дури.

Мать молчала.

— Мы знаем, что он там. Мы не грабить пришли.

Я нащупал в углу топор. Он стоял там, где я его оставил, — прислонённый к стене, рукоятью вверх, — и я взял его левой рукой, потому что правая плохо слушалась, и почувствовал, как холодное железо прилипает к ладони.

Дверь дрогнула.

Потом ещё раз, сильнее. Засов — деревянный, в палец толщиной — скрипнул и выскочил из паза.

Дверь открылась.

Первый вошёл быстро, пригнувшись. Второй за ним. Третьего я не видел, но слышал — он остался снаружи, у крыль-

ца, и переступал с ноги на ногу.

В сенях стало тесно и сразу запахло по-другому: конским потом, дымом и чем-то кислым, вроде старой кожи.

— Свет, — сказал первый.

Второй завозился, чиркнул — и в сенях стало желто и резко.

Я стоял в двух шагах, у печной стенки, с топором в руке, и смотрел на них.

Первый был высокий, в стёганом халате, с лицом, обветренным до корки. Второй — помоложе, с серьгой в ухе и с ножом, который он держал не как оружие, а как инструмент, — опустив, остриём вниз.

— О, — сказал высокий, увидев меня. — Вот и он.

Он не удивился. Ни капли. Он посмотрел на меня, как смотрят на вещь, которую искали по всем полкам и нашли на самой нижней.

— Ты кто? — спросил я.

Высокий усмехнулся.

— Тот, кто тебя заберёт.

Драка в сенях — это не драка. Это теснота, темнота и запах.

Я ударил первым. Замахнулся от плеча, как учили в детстве на даче колоть дрова, — и не попал: он ушёл вбок, и топор врубился в дверную раму, и я на секунду остался без оружия, потому что рукоять заклинило.

Второй ударил меня ножом в бок.

Я почувствовал не боль, а толчок — как будто кто-то ткнул пальцем в бок и надавил. Потом уже боль, острая, короткая, и внизу живота стало мокро и горячо.

Я закричал и схватил его за руку.

Это было глупо и это было единственное, что я мог. Мы сцепились — я держал его запястье двумя руками, он выворачивался, и я чувствовал, как нож скребёт по моему предплечью, ища, куда войти глубже.

— Держи! — крикнул высокий.

И тут мать ударила.

Она взяла ухват — тяжёлый, железный, с рогами — и опустила его второму на плечо. Я услышал звук, с которым топор входит в мёрзлое дерево. Парень обмяк, нож звякнул об пол.

Высокий шагнул ко мне.

Я рванул топор из рамы. Он вышел с треском. И я ударил — уже без замаха, коротко, снизу.

Лезвие вошло ему в живот под рёбра.

Я это запомнил на всю жизнь, хотя тогда ещё не знал, что жизнь будет длинной. Оно вошло мягко, почти без сопротивления, и остановилось. И на рукоять мне натекло горячее.

Он посмотрел на меня.

Не с ненавистью. С удивлением. Как человек, который всю дорогу думал, что всё будет просто, а оно вон как.

— Ты… — сказал он и осел.

Я держал топор. Он висел на нём — всем весом, — и я не

мог его отпустить, потому что рука не разжималась.

Потом разжалась.

Я стоял и смотрел, как он умирает.

Это заняло, наверное, полминуты. Может, минуту. Он лежал на боку, подтянув колени к животу, и дышал — часто, коротко, с бульканьем. В сенях пахло так, что тошнило: железом, содержимым кишок и дымом от опрокинутой лампы.

— Мам, — сказал я. — Мам, что делать?

Она стояла у стены. Ухват она всё ещё держала в руке, и лицо у неё было спокойное — то спокойствие, которое бывает у человека, который уже пережил самое плохое и теперь просто ждёт, когда оно закончится.

— Стоять, — сказала она. — Третий.

Третий.

Я обернулся к двери.

Снаружи, у крыльца, шаги удалялись — быстро, с хрустом по грязи. Он побежал.

— Уйдёт, — сказал я.

— Уйдёт, — согласилась мать.

Она подошла к раненому парню — тот сидел на полу, держась за плечо, и смотрел на нас с ужасом, — и очень спокойно сказала:

— Руки убрал. Убью.

Он убрал.

Потом она посмотрела на меня.

— Ты как?

Я посмотрел на свой бок. Рубаха была мокрая, и не только от пота. Я поднял руку — ладонь была красная, вся, до запястья.

— Нормально, — сказал я.

И меня вырвало прямо в сени.

Блок кода

[Цель устранена] [Опыт: 60] [Уровень: 3] [Навык: нож (топор) — 2]

Я смотрел на эти строки, стоя на коленях в собственной блевотине, и думал о том, что система — самая мерзкая вещь, которую я видел.

Опыт. Уровень. Навык.

Он лежал в двух шагах, и у него на пальце было медное кольцо, и он был чей-то сын, и у него, наверное, тоже была мать, которая сейчас спала и не знала.

— Ты его знаешь? — спросил я.

Мать покачала головой.

— Степной.

— А если он не степной?

— Степной, — сказала она. — По обуви.

Второго она связала сама.

— Что с ним делать? — спросил я.

— Ничего, — сказала она. — Он уйдёт. И скажет.

— Скажет что?

Она посмотрела на меня так, как смотрят на маленького.

— Что в Горелом есть человек, который убил троих.

— Двоих, — сказал я. — Третий ушёл.

— Троих, — сказала мать. — Ты сам сказал — двое у перелеска. Считай.

Я сел на пол.

Действительно. Двое падальщиков и один человек. Трое. И ещё один ушёл.

Деревня проснулась быстро.

Кузьма прибежал первым — в тулупе поверх рубахи, с топором, босой. За ним старик Афанасий, за стариком бабы. Они стояли у крыльца и смотрели на тело, которое мать выволокла на двор, чтобы не воняло в доме.

— Кто? — спросил Кузьма.

— Степные, — сказала мать.

— Сколько было?

— Трое.

— А где двое?

Мать кивнула на меня.

Я сидел на крыльце, зажимая бок тряпкой, и чувствовал, как все смотрят на меня. Не с восхищением. С тем же, с чем смотрят на человека, который принёс в дом покойника.

— Олесь убил? — спросил Кузьма. У него даже голос сел.

— Олесь, — сказала мать.

Толпа молчала.

Потом Афанасий, старик, сказал:

— Парень-то трёх дней как вернулся. И уже двое мёртвых.

— Трое, — сказала мать.

— Пусть трое, — сказал старик. — Я не про счёт. Я про то, что не бывает так.

До рассвета деревня не спала.

Я слышал, как ходят по дворам, как перекликаются, как где-то плачет ребёнок и его успокаивают. Потом всё стихло, а потом застучали в нашу калитку.

Мать вышла. Я слышал её голос — короткий, ровный, — и голос Кузьмы.

— Пелагея, там это… — Он запнулся. — У вас на дворе.

— Знаю.

— Ты бы… — Он помолчал. — Мужики говорят, надо смотреть.

— Смотрите.

Они пришли вчетвером: Кузьма, Афанасий, ещё двое — не помню имён, — и стояли во дворе, глядя на тело, как смотрят на что-то, что свалилось с неба.

Тело лежало там, где его оставили. В сенях было темно, и Кузьма поднял лампу.

— Степной, — сказал Афанасий.

— Степной, — согласился Кузьма.

— Молодой.

— Молодой.

Они постояли.

Потом Афанасий присел и стал шарить у мёртвого за пазухой.

— Ты чего? — спросил Кузьма.

— А чего? — Афанасий вытащил кисет. — Ему уже не надо.

Он сунул кисет за пазуху себе и пошёл к выходу. У двери остановился.

— Олесь.

Я стоял у печи.

— Ты его?

— Я.

Афанасий смотрел на меня долго.

— Ловко, — сказал он. И вышел.

Утром пришли бабы.

Они не заходили в дом — стояли у калитки, — но я видел их из окна: три или четыре, в платках, и они смотрели на наш двор так, как смотрят на прокажённого.

— Чего им? — спросил я.

— Ничего, — сказала мать. — Смотрят.

— Пусть смотрят.

— Они не смотреть пришли. — Мать не отрывалась от печи. — Они пришли решить, кто ты.

К полудню во дворе было уже человек десять.

Они не шумели. Стояли и смотрели — на сени, где лежал мёртвый, на меня, на мать.

Потом пришёл Гаврила.

Он вошёл во двор, как входят в свой, — не спрашивая, — и все расступились.

— Пелагея, — сказал он.

— Гаврила.

— Покажи.

Она показала.

Староста вошёл в сени, постоял над телом, потом вышел.

— Трое, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Трое за одну ночь.

— Двое, — сказал я. — Третий ушёл.

— Третий ушёл, — согласился Гаврила. — Это хуже.

Он обернулся к людям.

— Степные по одному не ходят, — сказал он. — Если трое пришли — значит, за ними идут ещё. Много.

Двор молчал.

— Значит, — сказал Гаврила, — нам надо решить. Быстро.

Решали весь день.

Я не участвовал. Мне не предложили.

Они собирались у колодца — мужики, — и я слышал обрывки: «уходить», «в лес», «а скотина», «а куда уходить», «в Край».

К вечеру пришли к матери.

— Пелагея, — сказал Кузьма. — Ты как?

— А что я?

— Ну… — Он помялся. — Мужики говорят, надо уходить. В лес. Пока не пришли.

— В лес, — повторила мать.

— Ну да. Там схроны есть, ямы старые, ещё от отца оста-

лись.

Мать посмотрела на него.

— Кузьма, — сказала она. — У тебя корова.

— Есть.

— А у меня — ничего. Мне терять нечего, поэтому я остаюсь.

Он ушёл.

Я подошёл к ней вечером.

— Ты правда останешься?

— Нет, — сказала мать. — Я это ему сказала, чтобы он ушёл.

— А мы?

— А мы уйдём, — сказала она. — Только не в лес.

— А куда?

— В Край. — Она посмотрела на меня. — Там стена.

— А если не дойдём?

Мать помолчала.

— Тогда не дойдём, — сказала она.

Староста пришёл, когда уже рассвело.

Гаврила был не старый ещё мужик, лет пятидесяти, с аккуратной бородой и мягкими руками. Он вошёл во двор, посмотрел на тело, потом на меня, потом сказал:

— Ну, рассказывай.

Я рассказал. Коротко: ночью, трое, влезли, дрались, двое легли, один ушёл.

Гаврила слушал внимательно, не перебивая. Когда я за-

кончил, он спросил:

— А чем бил?

— Топором.

— Покажи.

Я принёс топор. Гаврила взял его, посмотрел на лезвие, на рукоять, на засохшую кровь в пазу.

— Ерохин, — сказал он.

— Что?

— Топор Ерохин. — Он поднял глаза. — Ты его с собой носишь.

Я не нашёлся, что сказать.

Гаврила отдал топор обратно, вытер руки о платок и сказал, очень мягко:

— Молодец, Олесь. Троих — это хорошо. Только вот беда: степные за одного своего деревню не простят. Они придут.

— Сколько?

— А кто их считает, — сказал Гаврила. — Все.

Они пришли через сутки.

Я как раз спал — впервые за четверо суток по-настоящему, — и меня разбудил не звук, а запах.

Дым.

Я выскочил во двор. Небо на востоке было не серое, а рыжее, и над лесом стоял столб, густой, чёрный, с рыжим брюхом.

— Брод, — сказала мать, стоя у калитки. Она уже была одета и держала узел. — Пошли.

— Куда?

— В лес. Потом в Край.

Она не спрашивала. Она уже решила, пока я спал.

Мы успели отойти шагов на триста.

Сначала я услышал топот — не конский, а человеческий, много ног по мокрой земле. Потом крик — не боевой, а какой-то бытовой, злой, как кричат на скотину.

Потом загорелся первый дом.

Я обернулся. Горело уже в трёх местах: крайний двор, сараи, мельница. Над крышами висели люди, и я не сразу понял, что это не люди, а то, что от них осталось после того, как их подняли на вилы.

Мать тянула меня за рукав.

— Не смотри. Иди.

И тут из-за сарая выехал всадник.

Он выехал не быстро, шагом, и это было хуже скорости. Он был в кожаном панцире, с коротким луком в руке, и он смотрел прямо на нас — не на деревню, не на огонь, а на нас двоих.

— Пелагея, — сказал он. — А я думал, ты умнее.

Мать встала так, что оказалась между ним и мной. Я это видел и ничего не мог сделать.

— Беги, — сказала она.

Всадник поднял лук.

И тогда я почувствовал, как левая рука начинает гореть.

Я не знаю, как это работает. Я не знаю, откуда оно берётся

и почему слушается меня через раз. Знаю только, что в тот момент я не думал ни о Системе, ни об износе, ни о том, что будет со мной потом.

Я думал о том, что эта женщина стоит между мной и стрелой, хотя я ей никто.

Крови у меня на руках было достаточно — своя, из бока, из предплечья.

Блок кода

[Оттиск: каменный] [Износ: 34%]

Боль была такая, что я на секунду ослеп. Кость в предплечье затрещала и пошла волной, кожа натянулась и загрубела, пальцы раздались, и я почувствовал, как в них прибывает вес — не сила даже, а именно вес, как будто в руку налили чугуна.

Всадник выстрелил.

Стрела ударила меня в плечо, и я даже не почувствовал её — просто что-то ткнуло и осталось торчать.

Я побежал.

Он не успел выстрелить второй раз. Я схватил его за ногу и рванул на себя — и лошадь под ним встала на дыбы, и он полетел вниз, и я поймал его на лету, обоими руками, и ударил о землю.

Он был тяжёлый. Но я был тяжелее.

Я держал его и бил, пока он не перестал. Не помню, сколько раз. Помню, что у него хрустело под кулаком, и что он сначала кричал, а потом перестал кричать, а потом перестал

дышать, и я всё равно ударил ещё два раза, потому что не мог остановиться.

Мать оттащила меня за ворот.

— Хватит, — сказала она. — Хватит, слышишь.

Я сел на землю.

Рука возвращалась — медленно, с той же мерзкой болью, — и вместе с ней возвращалось всё остальное: жар, тошнота, вкус крови во рту.

Блок кода

[Оттиск: завершён] [Износ: 34%] [Предупреждение: необратимые изменения] [Состояние: рана (бок) — кровотечение] [Состояние: рана (плечо) — стрела]

— Вставай, — сказала мать. — Вставай, Олесь.

Я поднял голову.

Она стояла надо мной, и в её лице было что-то, чего я раньше не видел. Не жалость. Страх.

— Вставай, — повторила она. — Они видели.

Я обернулся.

У горящего сарая стояли трое. Двое степных — с копьями, и мужик из наших, Афанасий, с ним рядом.

Они смотрели на мою руку.

Рука была ещё не совсем человеческая: пальцы длинные, кожа в трещинах, как старая шкура.

Я поднялся.

— Идём, — сказал я.

И мы пошли в лес, и я не оглядывался, хотя знал, что за

спиной остаётся деревня, которая горит, и люди, которые теперь знают, кто я.

Глава 6. Обоз

Стрелу мы вытащили в лесу, у ручья, и это было хуже, чем получить её.

Наконечник был с зазубриной. Я это понял, когда мать взяла стрелу двумя пальцами и повернула.

— Не пойдёт назад, — сказала она. — Надо насквозь.

— Как насквозь?

— Так.

Она достала из узла нож — маленький, кривой, с обмотанной ручкой, — и посмотрела на меня.

— Держись за что-нибудь.

Я держался за корень.

Она нажала на древко. Стрела пошла вперёд, сквозь мясо, и я почувствовал, как наконечник скребёт по лопатке изнутри. Мир стал белым. Я услышал свой голос откуда-то со стороны — не крик, а длинный, ровный вой, — и не сразу понял, что это я.

Потом она вытянула стрелу с другой стороны, и я сел в ручей.

Вода была ледяная. Кровь пошла сразу, густо, толчками, и мать прижала к ране тряпку, и мы сидели так минут десять, пока не перестало.

— Всё, — сказала она. — Живой.

Я посмотрел на стрелу. Она лежала на камне, мокрая, и

на ней была моя кровь.

— Мам.

— Не зови.

— Пелагея. — Я вытер лицо мокрой рукой. — Спасибо.

Она не ответила. Она промывала рану в ручье и делала это так, будто мыла посуду.

Ночью я попробовал позвать это сам.

Сел у ствола, сжал левую руку в кулак, подумал: давай.

Ничего.

Ни жара, ни боли, ни строчки. Только холод и комары.

Я попробовал ещё раз — сильнее, злее, до звона в ушах. Ничего.

— Не работает, — сказал я вслух.

Мать сидела в двух шагах, укрывшись платком, и не спала.

— Что не работает?

— Ничего.

Она помолчала.

— Тимоха говорил, — сказала она вдруг. — Что это не по щелчку.

— А как?

— Как голод. — Она поправила платок. — Он говорил: когда очень надо, тогда и приходит. А когда зовёшь просто так — не приходит.

Я сидел и думал над этим.

«Как голод». Значит, не навык, который включается кнопкой. Значит, что-то, что просыпается само, когда тело реша-

ет, что иначе умрёт.

И значит, я не могу на него рассчитывать. Я могу только надеяться.

Это было хуже, чем износ. Износ — это цена. А это — лотерея.

Блок кода

[Навык: Оттиск — 3]

Я уставился на строчку.

— Ты чего? — спросила мать.

— Оно растёт, — сказал я. — Даже когда не получается.

До тракта мы шли сутки.

Я плохо помню этот переход. Помню, что было холодно, и что в боку дёргало на каждом шаге, и что мать шла впереди и ни разу не обернулась — но каждый раз, когда я отставал, она замедлялась ровно настолько, чтобы я догнал.

Помню, как мы вышли на тракт: широкую, разъезженную дорогу, всю в замёрзших колеях, с вешками по обочинам.

И помню, как я увидел обоз.

Телег было шесть. Большие, крытые рогожей, с высокими бортами. Лошади — сытые, тяжёлые, не чета нашей гнедой. Впереди ехали верховые, сзади — двое с арбалетами.

Я стоял на обочине, с рукой на боку, в рваной рубахе, и понимал, как мы выглядим. Двое оборванцев у дороги. Добыча.

Первый верховой остановил коня шагах в десяти.

— Чего?

Он был молодой, в кожаной куртке, с лицом, которое ещё не успело стать злым.

— Идём в Край, — сказал я. — Подвезёте?

— Платите.

Я полез за пазуху и достал медь — ту, что дал мельник. Немного, но монеты были настоящие.

Верховой посмотрел на медь, потом на меня, потом на мать. И крикнул назад:

— Гмыря! Тут двое!

Из глубины обоза, с третьей телеги, поднялся человек.

Он был широкий и какой-то весь помятый, как мешок, который долго возили. Лет пятидесяти, с седой щетиной и лицом, которое, судя по цвету, никогда не мыли, а только обтирали.

Он подошёл, посмотрел на нас — сначала на мать, потом на меня, потом на мою руку, которой я держался за бок.

— Из Горелого, — сказал он.

Не спросил.

— Из Горелого, — сказал я.

— Сгорело Горелое, — сказал Гмыря. — Дым видели. — Он сплюнул. — Кто у вас там был? Степные?

— Степные.

— Много?

— Не считал.

Он хмыкнул. Потом наклонился к моему боку, принюхался — именно принюхался, как собака, — и сказал:

— Стрела.

— Стрела.

— Степная, с зазубриной. — Он выпрямился. — Ты её как вынул?

— Насквозь.

Гмыря посмотрел на меня внимательно, и в этом взгляде не было ни удивления, ни жалости. Был интерес. Так смотрят на лошадь, которая сама перепрыгнула через забор.

— Ладно, — сказал он. — Садись на пятую. И мать сажай.

Он повернулся и пошёл к своей телеге.

— Сколько с нас? — крикнул я вслед.

— Нисколько, — сказал он, не оборачиваясь. — С тебя — разговор. Потом.

Пятая телега была пустая, с сеном. Мы залезли, и я почувствовал, как от сена пахнет пылью и солнцем, и как это невероятно, невозможно хорошо.

Телега тронулась. Я лежал на спине и смотрел в небо — серое, низкое, наше, без всяких там двух лун.

— Он тебя не боится, — сказала мать тихо.

— Я заметил.

— Это плохо.

Я повернул голову.

— Почему?

— Потому что он тебя не боится, — сказала она, — значит, он видел похуже.

Обоз шёл медленно: две телеги были гружёные, и на подъ-

ёмах кони шли шагом. Я лежал на сене и слушал.

Слышал, как переругиваются возчики. Как скрипят колёса. Как кто-то в голове обоза насвистывает одну и ту же мелодию, три ноты, и сбивается, и начинает заново.

И как Гмыря разговаривает со своими.

— …он говорит, что видел, — сказал молодой стражник.

— Он много чего говорит.

— А если правда?

— Если правда, — сказал Гмыря, — то мы узнаем об этом последними. Как всегда.

Я лежал и слушал и не понимал почти ничего — и в то же время понимал достаточно.

К вечеру встали у брода.

Брод был мелкий — вода по колено, — и обоз остановился, чтобы напоить лошадей. Возчики слезли, кто-то пошёл разминаться, кто-то остался на телеге.

Я лежал на сене и смотрел в небо.

Оно было серое, ровное, как загрунтованная доска.

— Хорошо, — сказал Гмыря.

Я повернул голову.

Он сидел на краю телеги, свесив ноги, и тоже смотрел в небо.

— Что хорошо?

— Всё. — Он повёл рукой. — Дорога. Лошади. Никто не стреляет.

— Низкая планка.

— А ты думал, у меня высокая? — Он усмехнулся. — Мне пятьдесят. Я давно перестал хотеть многого.

Возчики собрались у воды.

Их было шестеро, и они говорили о том, о чём говорят все возчики: о дороге, о ценах, о том, что раньше было лучше.

— За Солью теперь не проехать, — сказал один, низкий, с бородой. — Там в прошлом месяце обоз пропал.

— Какой?

— Троицкий. Четыре телеги. Пошли и не пришли.

— Нашли?

— Нашли телеги.

Все замолчали.

— А людей?

— А людей не нашли.

Я слушал и думал о том, что вот это — обычный разговор обычных людей, которые возят соль. Они говорят о пропавших обозах так же, как у меня на работе говорили о пропавших накладных: с досадой, но без удивления.

— А вы не боитесь? — спросил я.

Бородатый посмотрел на меня.

— А чего бояться?

— Ну… — Я не нашёл слов. — Ехать.

— А не ехать? — Он сплюнул. — Тогда с голоду помрём. Бояться — это когда есть выбор.

Гмыря подошёл ко мне позже, когда все разошлись.

— Слушай, — сказал он.

— Что?

— Ты не разговаривай с ними.

— Почему?

— Потому что они потом вспомнят. — Он сел рядом. — Ты говоришь не так, как тут говорят. Слова у тебя правильные, а ставишь ты их не по-нашему.

Я замер.

— Заметно?

— Мне — да. — Он пожал плечами. — Я двадцать лет с разными людьми разговаривал. Но не всем же двадцать лет.

— И что мне делать?

— Говори меньше, — сказал Гмыря. — И спрашивай больше. Кто много спрашивает — тот дурак. Кто много говорит — тот чужой.

Вечером встали на ночлег у развилки. Разожгли костёр — большой, жаркий, не то что наш лесной, — и вокруг него собралось человек пятнадцать.

Меня тоже позвали. Я сел с краю, у огня, и впервые за неделю почувствовал, что можно не смотреть в темноту.

Гмыря сел напротив. Достал из-за пазухи флягу, сделал глоток, вытер рот.

— Ну, — сказал он. — Рассказывай.

— Что рассказывать?

— Как ты троих положил, — сказал он. — Только не ври. Я по лицу вижу, когда врут.

Я посмотрел на огонь.

— Двоих, — сказал я. — Третьего отпустил.

— Отпустил?

— Он убежал.

Гмыря засмеялся. Смех у него был короткий, как кашель.

— Убежал, — повторил он. — Ну, хоть не соврал.

Он сделал ещё глоток.

— Знаешь, почему я тебя взял?

— Нет.

— Потому что ты сказал «двоих». — Он посмотрел на меня. — Обычный человек, который врёт, говорит «троих». Трое звучит лучше. А ты сказал двоих — значит, либо дурак, либо тебе не важно, как ты выглядишь. — Он снова хмыкнул. — Дураков я вижу сразу. Значит, не важно.

Он протянул флягу. Я взял и глотнул — и чуть не задохнулся: это был не вино и не брага, а что-то такое, от чего перехватило горло.

— Что это?

— Не спрашивай, — сказал Гмыря. — Мне за это платят.

Ночью, когда все уснули, он подсел ко мне.

Я не спал. Я лежал и слушал, как потрескивают угли, и думал о том, что теперь будет.

— Слушай, — сказал Гмыря тихо. — Ты вот что. В Край въедем — сразу к воротам не лезь. Скажешь, что я тебя нанял в обоз. Скажешь, что ты из Горелого, что деревня сгорела, что родню видел убитой. Плакать не надо. Но и улыбаться не надо.

— А если спросят про руку?

— Про какую руку?

Я посмотрел на него.

Он смотрел на меня. Ровно, спокойно, без всякого выражения.

— Про руку, — сказал я.

— У тебя две руки, — сказал Гмыря. — Обе при тебе. Всё, спокойной ночи.

Он встал и ушёл к своей телеге.

Я лежал и смотрел ему вслед, и в голове было очень тихо.

Значит, он видел. Видел и понял. И не сказал ничего.

Край показался на третий день — и я сначала не понял, что это он.

Просто на горизонте выросла серая полоса, длинная, из конца в конец, и я подумал: неужели горы.

Потом подъехали ближе, и я увидел, что это стена.

Она была высотой в три или четыре дома, из камня и дерева, с башнями через каждые двести шагов, и поверху ходили люди — маленькие, как муравьи. За стеной поднимался дым: много дыма, десятки труб.

Обоз встал в очередь у ворот.

Я смотрел на стену и чувствовал, как сердце бьётся чаще. Не от страха. От чего-то другого — как будто я стою у ворот чего-то, что больше меня, и оно пока не решило, впускать или нет.

Блок кода

[Внимание: обнаружен образец]

Я выпрямился.

— Что? — спросила мать.

— Ничего, — сказал я.

Но краем глаза, за спинами у ворот, у караульной будки, я увидел человека.

Высокий. Худой. В чёрном.

Он стоял неподвижно и смотрел не на обоз, не на стражу, не на очередь. Он смотрел на меня.

Глава 7. Край

Очередь у ворот шла медленно и воняла.

Не одним чем-то — а всем сразу. Потом, лошадьми, мокрой шерстью, квашеной капустой, дымом, кислым молоком и людьми, которые неделю не мылись. Я стоял в этой очереди и дышал через рот, и всё равно к горлу подкатывало.

Перед нами стояла телега с клетками. В клетках сидели куры, и одна из них смотрела на меня с таким видом, будто это она меня везёт на продажу.

— Не вертись, — сказал Гмыря, не оборачиваясь. — Стоишь как на смотру.

— Я не верчусь.

— Ты головой крутишь. Как воробей. — Он сплюнул. — Тут так не ходят. Тут ходят, как будто тебе всё равно.

Я попробовал. Получилось плохо.

Писарь сидел за столом у самых ворот — сутулый, в чёрном кафтане, с чернильницей, привязанной к поясу так, чтобы не украли. Перед ним лежала книга, толстая, с обтрёпанными углами.

— Имя.

— Олесь.

— Чей?

— Пелагеин.

Он макнул перо, записал. Буквы у него были мелкие, ак-

куратные, как муравьи.

— Откуда?

— Из Горелого.

Перо остановилось.

— Горелое сгорело, — сказал писарь.

— Знаю. Я оттуда.

Он поднял глаза. У него были глаза человека, который каждый день слышит одно и то же и уже не различает, где правда, а где просто слова.

— Когда?

— Четыре дня.

— Кто?

— Степные.

Писарь вздохнул и записал. Потом спросил, не поднимая головы:

— Ремесло?

Я не понял.

— Ремесло, — повторил он с раздражением. — Чем живёшь.

— Работал у мельника, — сказал я. — Соль возил.

— Возчик, — сказал писарь. — Это хорошо. Возчики нужны.

Он протянул руку.

— Ладонь.

Я не понял.

— Ладонь покажи, — сказал он. — Или ты думаешь, я

тебе на слово поверю?

Я показал.

Он взял мою правую руку, повернул, посмотрел на мозоли — на те самые, от верёвки, от вожжей, от мешков, — и удовлетворённо кивнул.

— Возчик, — сказал он. — Проходи.

Вот так. Не глаз, не лицо, не вопросы. Мозоли.

Я подумал: а ведь это тело меня уже один раз спасло — до того, как я успел им воспользоваться.

Стражник у ворот был ленивый. Он посмотрел на нас, на узел матери, на мою руку, которой я держался за бок, и сказал:

— Больной?

— Раненый, — сказал Гмыря.

— Докуда?

— До Края.

Стражник хмыкнул, махнул рукой.

— Проходите.

Мы прошли.

И вот тогда я обернулся, чтобы найти человека в чёрном.

У будки его не было. У стены — не было. Я прошёл глазами по всей очереди, по верховым, по телегам, по крышам.

Никого.

— Чего ищешь? — спросил Гмыря.

— Тут стоял человек. В чёрном.

Гмыря остановился. Обернулся — не резко, а лениво, как

будто ему просто интересно.

— Высокий? Худой?

— Да.

— В чёрном, с длинными рукавами?

— Да.

Гмыря помолчал. Потом сказал, очень спокойно:

— Не ищи.

— Почему?

— Потому что найдёшь.

И пошёл дальше, не оглядываясь.

Блок кода

[Репутация: подозрение — снижено]

Город ударил по мне сразу, как только мы прошли под аркой.

Не стена — хотя она была над головой, толстая, с бойницами, и через неё капало. Не люди — хотя их было больше, чем я видел за всю свою жизнь, разом.

Запах.

Он был плотный, как вода. Мокрая шерсть, дым, печёный хлеб, кислая капуста, жареное мясо, нечистоты, скисшее пиво, пот, кожа, лошадиный навоз, какая-то дохлятина, гниющая где-то за углом, и поверх всего этого — сладковатый дым, который я ни с чем не мог сравнить.

Я остановился.

— Иди, — сказала мать. — Не стой на проходе.

Я пошёл.

Улица была узкая, кривая, вся в лужах, и по обе стороны — дома, прижавшиеся друг к другу, как зубы. Вторые этажи нависали над первыми, так что небо было полоской. Где-то играла музыка — не музыка, а просто кто-то бил в бубен с упорством дятла.

Мимо прошёл мужик с коромыслом и облил мне сапоги. Никто не извинился. Никто даже не посмотрел.

— Здесь так принято, — сказала мать. — Не останавливайся.

Я шёл и смотрел.

Вот баба торгует пирогами с лотка, и на лотке сидят мухи. Вот мальчишка — лет десять — тащит на плече мешок больше себя. Вот два мужика дерутся у кабака, и никто их не разнимает, все смотрят. Вот старик сидит на земле, у него нет ног, и перед ним лежит шапка, и в шапке две медяшки.

А вот — вывеска. Не буквы, а знак: круг с насечками, как на иконе в доме матери.

— Что это? — спросил я.

— Система, — сказала мать. — Здесь всё её.

До каморки мы не дошли — Гмыря свернул на рынок.

— Купить надо, — сказал он.

— Что?

— Всё. — Он оглядел меня. — Ты в чужой рубахе с дыркой, в сапогах с чужой ноги и с медью в кармане, которую тебе дал мельник. Тебя тут за версту видно.

Рынок был не площадь.

Это был переулок — длинный, кривой, весь в навесах, — и в нём стояло вплотную столько лотков, что пройти можно было только боком.

Пахло так, что у меня закружилась голова: рыба, лук, гнилая капуста, кожа, дёготь, жареное мясо, квас, пот, дым, и поверх всего — что-то сладковатое, что я не смог опознать.

— Не отставай, — сказал Гмыря.

Я не отставал.

Он торговался как дышал — не задумываясь.

— Сколько?

— Пять.

— Три.

— Четыре, дядя, ей-богу, четыре.

— Три с половиной.

— Бери.

Я смотрел на это и понимал, что не понимаю ничего.

У меня в кармане было, наверное, две недели чьей-то жизни, и я не знал, много это или мало. Гмыря брал рубаху за то, что, по моим ощущениям, стоило чашки кофе, — а потом он взял сапоги за цену, которая мне показалась ценой хорошего телефона.

— Гмыря.

— Что.

— А сколько это… — Я показал на хлеб. — Ну, в деньгах.

— Полторы.

— А это много?

Он остановился.

— Ты откуда такой? — спросил он.

— Издалека.

— Издалека, — повторил он. — Ну да.

Он сунул мне в руки хлеб.

— Ешь. И запоминай: хлеб — полторы. Кружка кваса — две. Ночлег — пять. Девка — десять, но тебе не надо.

— Почему не надо?

— Потому что тебя потом найдут.

Я ел хлеб и смотрел на людей.

Их было много. Больше, чем я видел за всю жизнь разом.

Вот баба с лотком пирогов — у неё на лице написано столько усталости, что она даже не торгуется, просто стоит. Вот мужик с рыбой, у него на руке не хватает двух пальцев. Вот мальчишка лет двенадцати, который стоит у входа и смотрит на прохожих.

— Этот — вор, — сказал Гмыря, не поворачивая головы.

— Который?

— Мальчишка. Видишь, как стоит? Не смотрит на товар. Смотрит на руки.

— И что?

— И то, что он тебя уже выбрал.

Я посмотрел на мальчишку.

Тот посмотрел на меня.

И улыбнулся — коротко, понимающе, как улыбаются своим.

Он подошёл через минуту.

— Дядь.

— Чего?

— Ты не здешний.

— И что?

— Ничего. — Он пожал плечами. — Просто здешние так не стоят.

— Как?

— Как будто всё в первый раз.

Гмыря за спиной хмыкнул.

— Иди, — сказал он мальчишке. — Он не будет.

— А если будет?

— Тогда я тебя найду.

Мальчишка убежал.

— Кто это?

— Никто, — сказал Гмыря. — Он сегодня тут, завтра там. Таких много.

— И что он хотел?

— То же, что все. — Гмыря поправил мешок на плече. — Проверить, что у тебя в кармане.

К вечеру у меня было: рубаха, штаны, сапоги по ноге и мешок.

И ещё одно понимание, которое я не сразу сформулировал.

Этот мир не был ко мне враждебен. Он вообще меня не замечал.

В нём были свои цены, свои правила, свои воры и свои пироги. И если бы я умер в первый день — в нём бы ничего не изменилось.

От этого было почему-то легче, чем от всех разговоров про внешников.

Гмыря привёл нас не в гарнизон, а сначала к себе — в каморку над конюшней, где пахло сеном и мышами.

— Сидите тут, — сказал он. — Не выходите. Я вернусь к вечеру.

— А если выйдем?

— Тогда я тебя не знаю, — сказал он и закрыл дверь.

Мать села на мешок, развязала узел, достала хлеб, разломила пополам.

— Ешь.

— Не хочу.

— Ешь, — сказала она. — Ноги откажут.

Я съел. Хлеб был чёрствый, но с коркой, и я жевал её долго, потому что зубы болели.

— Мам.

Она не ответила. Даже не посмотрела.

— Пелагея.

— Что.

— Ты знала, что так будет?

Она помолчала.

— Знала, — сказала она. — Я всегда знала. Ещё когда он родился.

— Почему?

— Потому что он был не такой, — сказала она просто. — Тихий. Всё в окно смотрел.

Она отломила от своего куска и положила в рот.

— Я думала, оно пройдёт. С возрастом.

Я отвернулся к стене.

За стеной, внизу, кто-то чистил стойло, и скребок шаркал по дереву — раз, другой, раз, другой. И от этого звука мне вдруг захотелось домой так сильно, что я вцепился в мешок и зажмурился.

Домой. Не в Край. Не в этот мир. Домой — в Тимашевск, где в холодильнике стоит молоко, где у меня остался телефон на столе, и, наверное, кто-то уже звонил, и никто не отвечает.

К вечеру пришёл Гмыря. С ним — молодой парень, которого я видел в обозе: тот, что спорил про «он говорит, что видел».

— Это Пахом, — сказал Гмыря. — Тебя в патруль с ним.

Пахом был светловолосый, с лицом, которое всё время как будто извинялось. Он протянул руку.

— Здорово.

Я пожал. Рука у него была сухая и тёплая.

— Ты правда троих? — спросил он.

— Двоих.

— Ага, — сказал Пахом с уважением. — Двоих.

Гмыря посмотрел на него, потом на меня, потом сказал:

— Стена. Завтра. К утру быть у третьей башни.

— А форма? — спросил я.

— Форма, — сказал Гмыря, и впервые за всё время я увидел, как он улыбается по-настоящему. — Форму тебе выдадут. А пока не ходи по улицам в этом.

Он ткнул в мою рубаху, в которой была дыра и засохшая кровь.

— И вот что, — сказал он на пороге. — В патруле слушай Пахома.

— Он ведь младше.

— Младше, — сказал Гмыря. — И дурнее. Но он знает, куда не надо ходить. А ты не знаешь.

Пахом ушёл, а я поднялся наверх, на галерею над конюшней, и сел у столба.

Край лежал внизу, весь из огней. Десятки, сотни огней: окна, факелы, жаровни, чьи-то костры во дворах. И глухой, ровный шум, как море: люди, лошади, телеги, музыка, ругань.

Я смотрел на этот город и думал о том, что завтра пойду на стену, и что там, за стеной, — темно.

— Их видно? — спросил я, когда Гмыря вышел на галерею.

— Кого?

— Тварей. Со стены.

— Сначала — нет, — сказал он. — Они как кошки. Сначала ничего, потом вдруг уже сидят на валу и смотрят.

Он сел рядом, тяжело, и вытянул ноги.

— Вот что запомни, парень. Стена — это не для того, чтобы на неё не залезли. Стена — это чтобы ты видел, откуда идут.

— А когда не видно?

— Тогда смотри на чаек, — сказал Гмыря. — Чайки не врут. Если чайки сидят на валу и молчат — значит, внизу кто-то есть.

Ночью я не спал.

Каморка была душная, мать спала на полу, отвернувшись, и я лежал с открытыми глазами и слушал, как внизу лошади переступают в стойлах.

Тихий звук.

Потом — скрип.

Я открыл глаза. Дверь каморки была приоткрыта, и в проёме стоял человек.

Я не видел лица. Я видел только силуэт: высокий, тонкий, в чёрном, с длинными рукавами, из которых не высовывалось кистей.

— Олесь, — сказал он.

Голос был ровный, вежливый. Так говорят люди, которые не сомневаются, что их выслушают.

Я не пошевелился.

— Кто вы?

— Я тот, — сказал он, — кто может объяснить тебе, что с тобой происходит.

Он сделал шаг в комнату. Я услышал, как скрипнула по-

ловица, и как под его подошвами что-то щёлкнуло.

— Или, — добавил он, — я могу сделать вид, что не видел тебя у ворот. Как думаешь, что будет лучше?

Блок кода

[Внимание: близость образца] [Неизвестный носитель: признак не определён]

Я сел на мешке.

— Вы не человек, — сказал я.

Он помолчал.

— А ты — с той стороны, — сказал он.

И впервые в этом мире кто-то произнёс это вслух не как приговор, а как факт.

— Сойдёт, — сказал он. — Поговорим?

Глава 8. Патруль

Он сел на край мешка, не спрашивая разрешения, и я увидел его руки.

Их не было.

То есть рукава были — длинные, чёрные, до самых пальцев, и из них ничего не высовывалось. Не обрубки, не бинты. Просто темнота, как будто внутри рукава была дыра.

— Не смотри, — сказал он. — Это невежливо.

— Извините.

— Ничего.

Он сидел очень прямо, и в темноте его лицо было как белое пятно.

— Ты умер, — сказал он. — Там, у себя. И пришёл сюда. Только не спрашивай, как я это понял: я вижу такими, как ты, за версту.

— Кто вы?

— Скажем так: я работаю на человека, которому нужны такие, как ты. — Он чуть наклонил голову. — Живыми.

— На кого?

— Не сейчас.

— А когда?

— Когда ты поймёшь, — сказал он, — что тебе больше некуда идти.

Он встал.

— Тебя искали у ворот. Двое. Я сказал, что не видел.

— Почему?

— Потому что тебя нашёл я, — сказал он. — И это моя находка.

В дверях он обернулся.

— И ещё. Не пытайся меня… — он поискал слово, — скопировать. Не получится. И будет больно.

— Уже понял.

— Молодец.

Он вышел. Половица скрипнула один раз — и больше ничего.

Я сидел на мешке и слушал, как в конюшне переступают лошади. Мать не проснулась. Или сделала вид.

Блок кода

[Предупреждение: носитель не подлежит копированию]

Эта строчка висела перед глазами, пока я не моргнул.

Утром мне выдали форму.

Она была не новая и не моя. Кафтан из грубой шерсти, тёмно-серый, с чужого плеча — в плечах жал, в поясе болтался. Штаны, сапоги. И ремень с кожаной петлёй для меча.

Меч тоже был не мой. Короткий, с широким лезвием, без всяких украшений, с рукоятью, обмотанной шнуром. Я взял его в правую руку, взвесил.

Тяжёлый. Тяжелее, чем кажется.

— Не маши, — сказал Пахом. — Пока не научишься.

— А когда научусь?

— Тогда тоже не маши, — сказал он и засмеялся. — Машут только в кино.

— В чём?

Он посмотрел на меня как на дурака.

До утра я не спал.

Койка была короткая, и я всё время сползал. В казарме пахло мокрой шерстью и чужими ногами. Кто-то храпел, кто-то разговаривал во сне.

Я встал.

Во дворе было холодно и пусто. Над стеной висела та полоса — бледная, ровная, — и от неё не было света, только какое-то серое свечение, от которого всё становилось плоским.

Я сел на ступеньку.

— Не спится?

Я вздрогнул.

Сухой стоял у стены, в двух шагах, и я не слышал, как он подошёл.

— Не спится.

Он кивнул и сел рядом — не близко, на расстоянии вытянутой руки.

Мы сидели и молчали.

Сухой был из тех людей, рядом с которыми не хочется говорить.

Не потому, что он был страшный. Наоборот: лицо у него было спокойное, даже доброе, и глаза как у человека, кото-

рый давно всё решил.

Он просто молчал так, что твоё собственное молчание становилось нормальным.

— Тебя как зовут? — спросил я. — По-настоящему.

Он посмотрел на меня.

— Сухой.

— Это прозвище.

— Да.

— А имя?

Он помолчал.

— Не помню, — сказал он.

Я не понял, шутит он или нет.

— Как это?

— А ты как думаешь? — сказал Сухой. — Я двадцать лет в страже. Меня двадцать лет зовут Сухим. Кто теперь вспомнит, как меня звали?

Он достал кисет, свернул самокрутку, закурил.

Дым пах не табаком, а чем-то травяным.

— Хочешь?

— Не курю.

— И правильно.

Он курил медленно, и я смотрел, как тлеет бумага.

— Завтра в патруль, — сказал он.

— Знаю.

— С Пахомом.

— Да.

Сухой кивнул.

— Хороший парень.

— Вы его знаете?

— Всех знаю. — Он затянулся. — Слушай. Там, за стеной, есть правило. Одно.

— Какое?

— Не отрывайся.

Он повернул голову.

— Понял? Не отрывайся. Ни от кого. Бежать наверх, за помощью, за стрелами, за чем угодно — не отрывайся. Если рядом кто-то есть — ты в порядке. Если никого — ты мёртвый.

— Даже если…

— Даже если. — Он докурил и затоптал. — И второе. Смотри не на тварей.

— А куда?

— На землю. — Он поднялся. — Твари приходят с той стороны, откуда их ждёшь. А то, что тебя убьёт, обычно приходит сзади.

Он ушёл.

Я сидел на ступеньке до рассвета.

Полоса висела над стеной, и в ней ничего не двигалось.

Стена изнутри была не такой, как снаружи.

Снаружи — просто стена. Изнутри — лестницы, переходы, галереи, ниши, где стояли бочки с водой и песком, и узкие щели в полу, через которые, как объяснил Пахом, льют

кипяток.

— А если не кипяток?

— Тогда кипяток.

Наверху было ветрено. Ветер дул с той стороны, откуда мы пришли, — с юга, — и нёс сырость и запах гари. Где-то там, далеко, всё ещё горело Горелое.

Я подошёл к краю и посмотрел вниз.

За стеной был ров, потом вал, потом — поле. Серое, мокрое, с клочьями тумана. И тишина.

— Ничего не видно, — сказал я.

— И хорошо, — сказал Пахом. — Значит, никого.

Он стоял рядом, опершись на копьё, и щурился.

— Красиво, вообще-то, — сказал он. — Если не думать.

— А ты не думаешь?

— Привык.

Патруль был из четырёх: я, Пахом, старик по прозвищу Сухой и мужик по имени Дёма.

Сухой не разговаривал вообще. Он просто шёл и смотрел в одну точку перед собой. Дёма разговаривал за всех — про то, как раньше было лучше, про то, что начальство ворует, про то, что раньше на Кромке было больше дичи и меньше тварей.

— Раньше, — говорил он, — мы за стену ходили как на прогулку. А теперь иди, попробуй.

— А что теперь? — спросил я.

— А теперь оно само к нам приходит.

Мы шли по внешнему обходу — по узкой тропе вдоль вала, между рвом и полем. Слева был вал, справа поле. Я шёл третьим, за Пахомом, и смотрел на его спину.

— Слушай, — сказал Пахом, обернувшись. — Ты вот что. Если увидишь что-то — не кричи сразу. Сначала покажи рукой.

— Почему?

— Потому что крик слышно за версту, — сказал он. — А если это не тварь, а собака, ты будешь дураком.

— А если тварь?

— Тогда кричи, — сказал он. — Но сначала покажи.

Пахом рассказывал про себя всю дорогу, и я это запомнил, потому что потом, много позже, мне часто хотелось этого не помнить.

Он был из деревни под Краем. Отец умер, мать вышла замуж второй раз, и отчим его не бил — что, по его словам, было хуже, потому что не бил и не любил. В стражу он пошёл в шестнадцать, потому что там кормили. Сейчас ему было двадцать два.

— Хочу в городскую, — сказал он. — Там смена короче, и жалованье больше, и стена не трясётся.

— А здесь трясётся?

— Ты не заметил? — Он засмеялся. — Когда ветер в спину — трясётся. Как будто она живая.

Он помолчал и добавил:

— У меня девушка есть. В слободе живёт, у кожевника.

Как переведусь — поженимся.

— Давно вместе?

— С зимы, — сказал он. И улыбнулся. — Каждый день хожу мимо её окна.

Я шёл за ним и думал о том, что в моём мире таких ребят, наверное, тоже полно. Двадцать два года, девушка, мечта о тёплой работе. И никто из них не собирается умирать.

Чайки замолчали первыми.

Я не сразу понял, что не так. Просто шёл и слушал — ветер, шаги, скрип кожи, — и вдруг заметил, что стало тихо.

Совсем тихо. Даже ветер стих.

— Стой, — сказал я.

Пахом остановился.

— Что?

— Тишина.

Он обернулся. Посмотрел на валуны, на вал, на поле. Потом на первое поле — туда, где стояли вешки, — и на птиц, которые сидели на этих вешках и не двигались.

Он поднял руку. Это был знак.

Дёма за спиной сразу перестал говорить. Я услышал, как он выдохнул и как заскрипело древко копья, когда он взял его обеими руками.

— Двое, — сказал Сухой.

Он сказал это очень тихо, но я услышал каждое слово.

— Слева, у камней. Двое. И третий за валом, не видно, но он там.

Я посмотрел на камни.

И увидел.

Они сидели на корточках.

Я не сразу их разобрал — они были серо-коричневые, как камни, — и только когда один пошевелился, я понял, что это такое.

Оно было размером с человека, только шире, и стояло на четырёх лапах. Сверху — горб, из которого росло два рога, не вверх, а в стороны, короткие и толстые, как обрубки.

Рогач.

— Стоять, — сказал Пахом. — Не беги. Он тогда… — он не договорил, потому что первый рогач уже поднялся.

Он поднялся тяжело. Не как собака — как корова, которая встаёт с земли. И затрусил на нас — не спеша, но по прямой.

— Копья! — крикнул Дёма.

И всё стало быстро.

Первый рогач шёл на Пахома.

Пахом закричал — не от страха, а чтобы придать силы, — и ударил копьём. Попал в горб. Копьё скользнуло, и рогач мотнул головой, и Пахом отлетел в сторону, как кукла, и упал в ров.

Второй шёл на меня.

Я держал меч обеими руками. Меч был тяжёлый. Он вдруг стал ещё тяжелее.

Рогач трусил, и его глаза были прямо передо мной — маленькие, чёрные, невыразительные. У него из пасти шла слю-

на и капала на землю, и там, где капала, трава становилась белой.

Я ударил. Сверху, как дровосек.

Меч попал в горб и застрял.

Рогач заревел — я никогда не слышал, чтобы так ревели, — и дёрнулся, и меня потащило за мечом, и я понял, что не могу его отпустить, потому что если отпущу — останусь без оружия.

Что было дальше, я помню кусками.

Помню Дёму, который ударил в рогача копьём сбоку, в брюхо, и как копьё вошло туда, и как оттуда что-то вылилось.

Помню Сухого, который молча стоял над Дёмой и бил подгрудок — ритмично, коротко, как кузнец.

Помню себя на земле, придавленного, и рогач, который пытался дотянуться до моего лица, а я держал его голову руками и чувствовал, как кожа на моих ладонях начинает гореть.

Пахом кричал.

Я нашёл его потом, в рову. Он лежал на спине, и у него была вспорота вся правая сторона, от бедра до подмышки, и из него выходило что-то, чего я не хочу называть.

Он был ещё живой.

Я упал на колени рядом. Руки были в чужой крови — и в его крови тоже, — и я чувствовал, как в левой руке что-то начинает набухать, как будто она хочет измениться, и понимал, что не могу, потому что не знаю, что оттуда выйдет, и

потому что мне было не до того.

— Пахом. Пахом, смотри на меня.

Он посмотрел. У него был очень спокойный взгляд, как будто ему уже сказали то, что он хотел знать.

— Ты, — сказал он.

— Лежи, не двигайся.

— Я и не двигаюсь, — сказал он. И это была правда.

Он попытался что-то сказать ещё. Я наклонился.

— У тебя рука… — сказал он и вдруг улыбнулся — странно, не к месту, — и добавил: — Только… не девочке моей.

Потом он перестал дышать.

Я сидел рядом и держал его за руку, и рука была тёплая ещё минуты две, а потом стала как чужая.

Блок кода

[Цель устранена: 2] [Опыт: 25]

— Заткнись, — сказал я.

Я сидел рядом с ним, пока не подошли остальные.

Первым пришёл Сухой. Он посмотрел на Пахома, потом на меня, потом присел и закрыл ему глаза — двумя пальцами, легко, как будто поправил одеяло.

— Вставай, — сказал он.

— Подожди.

— Вставай, — повторил он. — Здесь стоять нельзя.

Дёма подошёл молча. У него была рассечена бровь, и кровь засохла на половине лица.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.